



М. ЛАТАРЦЕВА

**ЧТО-ТО ПОШЛО  
НЕ ТАК  
ПОСЛЕСЛОВИЕ**

18+

# Мария Латарцева

## Что-то пошло не так. Послесловие

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=35740793](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=35740793)*

*SelfPub; 2018*

### **Аннотация**

После того, как во время обстрела осколок седого тополя пронзил стену больничной палаты, тени прошлого настолько тесно переплелись с настоящим, что Богдану все чаще казалось, будто жизнь его переместилась в ночное время суток. Постепенно сны и видения вытеснили из сознания чувство реальности, оставалось только гадать – они пытаются сжить его со свету или предупредить о поджидающей опасности?

Грузный колокол.

А на самом его краю

Дремлет бабочка.

*Ёса Бусон*

...Размеренно наматывая на руку почти невесомую нить, клоун из циркового плаката пристально всматривается Богдану в глаза, словно пытается увидеть в них боль и страдание. Тонкое прозрачное волокно нервов ритмично складывается от ладони и до локтя... От ладони – и до локтя... Ровным слоем... Нитка за ниткой... Мучительно вытягивает из тела остатки жизни и души.

Богдан из последних сил старается выдержать испытание, отчаянно делает вид, что ему не больно, что его не пугает происходящее, но чувствует, как с каждым новым витком невыносимая боль рвёт на куски его раздетое нутро, лишённое возможности сопротивляться. Он с ужасом понимает, что силы уже на пределе, и участь его решена.

Но первым сдаётся клоун. Разочарованный отсутствием реакции на свои манипуляции, он бесстрастно прекращает тянуть из несчастного жилы, потом, мгновенье хладнокровно поразмыслив, и вовсе уходит, исчезая частями – сначала голова с неподвижной ленивой улыбкой, короткая бабочка-шея в ядовито-фиолетовый горошек, правая рука... Постепенно исчезает туловище. Долше всего задерживается в воздухе левая рука с намотанными на неё нитями полуживо-

го естества. Наконец дрожащая пуповина, связывающая палача и жертву, натягивается до предела и с резким звуком лопают.

В глазах Богдана меркнет свет, потом он ощущает на своём лице холодные мокрые брызги, слышит явственный вздох облегчения и удивлённый голос:

–...Бр-р-р! Живой? Взаправду живой?! Ну, ты, пацан, даёшь! Почему в воду не прыгал, когда лодка вверх бортом ушла? Чего раздумывал? Твои приятели с ходу рванули, как только ваша посудина крен дала. В момент рассосались, будто не было. С такими водиться – себя не уважать, так что подумай, стоят ли они того – жидкие больно, с душком. Хотя... Хотя я тоже, каюсь, смалодушничал – почти не верил, что смогу тебя в реке найти – мутная она больно, тинистая. И течение вроде нормальное, и русло глубокое, а все равно чего-то не хватает. Здоровья у речки, что ли, нет?

Бестолково размахивая руками, лихорадочно повторяясь и глотая слова, соседский парень, которого в селе иначе, как блаженным, не называли, откровенно радуется его спасению. Несколько дней назад этого человека даже в армию не взяли, говорят, комиссовали, негодным к службе оказался, а он взял, да и спас его, Богдана, от верной гибели спас.

–...А ты силён, брат, мертвой хваткой за шею вцепился, ещё немного, и вдвоём пошли бы рыб кормить на дно, еле удержал. Пришлось тебя даже ударить чуток, чтобы отпустил, ты уж извини, коль что. Воды ты тоже не хило хлебнул.

Да что там – хлебнул! По самую завязку нахлебался! Слава Богу, откачать удалось, – по-собачьи стряхивает с себя воду молодой человек.

– Не рассказывай маме, Иван, – еле вспомнил имя своего спасителя.

Почти до сумерек он скитался по берегу, придумывая, как будет дома объяснять произошедшее, потом бочком, чтобы не увидела мама, зашёл в дом, стянул с себя ещё сырую одежду, умылся, переоделся. В зеркале заметил внушительное темно-красное пятно чуть ниже лопатки, наверное, это и был след от удара, о котором говорил Иван. Спина в том месте даже не болела, просто немилосердно зудела, да так, что хотелось до крови расчесать ссадину, чтобы снять этот невыносимый зуд.

– Иди кушать, Богдан, – раздался из кухни невозмутимый голос матери. – Как раз впору – ужин поспел.

Мама изучающе оглядывает его с ног до головы, после чего спокойно замечает:

– Слышала, сегодня ты чуть не утоп. Запомни – вода шуток не любит, в следующий раз постарайся быть поаккуратнее, сынок.

– Хорошо, мама, постараюсь, – отвечает он так же сдержанно, придвигая к себе тарелку молодой картошки, щедро посыпанной зеленью укропа, и запотевшую кружку холодного кислого молока...

Ещё переживая ночные сновидения и возвращаясь к со-

бытиям далёкого детства, он почувствовал запах больницы, потом уловил какую-то неестественную, почти неприличную тишину, лишённую обычных домашних звуков – не было слышно за окном дребезжащих трамваев, не сигналили привычно водители легковушек, не хлопала, закрываясь, дверь в соседний подъезд, не бежала вниз по трубам спущенная в туалете вода, и даже холодильник не ругался по поводу излишне заставленных полок на дверце. В доме царило полное молчание.

«Неужели Наталья с ночной смены вернулась, а я не услышал? Интересно, который час?» – подумалось спросонок. Как и во сне, донимало под правой лопаткой. Рука его потянулась к спине, чтобы почесать докучливое место, но неожиданно наткнулась на плотную повязку из бинтов. Тогда он сделал попытку вытянуть из-под себя вторую руку, онемевшую от неудобной позы, но обнаружил, что она вообще привязана к раме кровати.

Это непредвиденное и совершенно неприятное обстоятельство заставило его открыть глаза, но и здесь его постигла неудача – вместо спальни в собственной квартире он обнаружил больничную палату, стойку капельницы возле себя и закрепленную пластырем иглу в руке.

– Наташа, – все ещё не доверяя своим глазам, позвал шёпотом. Подождал немного – никакой реакции в ответ. Тогда собрался с силами и повторил уже громче:

– Наташенька, ты где?

– Батюшки родные, неужель в себя пришёл? А я и не заметила...

Довольно молодая незнакомая женщина, неприметно сидящая в уголке, откладывает в сторону вязание, привычно поправляет причёску, машинально проводит рукой под носом и совсем по-домашнему спрашивает:

– Как вы себя чувствуете, дорогой? Больше не уснёте?

Увидев его удивлённый взгляд, спокойно объясняет:

– Да вы тут здоровски спите, я вам скажу. Уже несколько дней спите, пора бы и просыпаться...

Богдан все ещё не теряет надежды, что Наталья где-то рядом, но звать её в присутствии незнакомки не решается, а та вспоминает вдруг что-то важное, чисто по-женски хлопает в ладоши и легко поднимается со своего насеста.

– Ох, что же я с вами-то попусту болтаю? До-ок-то-ор! – произносит она протяжно-напевно, открывая дверь в коридор. – До-ок-то-ор! Этот, с осколочными, в себя пришёл... Ой! Извините, что я так про вас, Богдан, это нечаянно получилось, честное слово, нечаянно...

Женщина смущенно краснеет, а из коридора слышатся уверенные мужские шаги. Ещё через несколько мгновений в комнату входит незнакомый молодой человек в шуршащем белом халате. «Ты гляди, франтоватый какой!» – отмечает Богдан одобрительно. Наталья тоже имела привычку крахмалить свои халаты, да так, что они, кажется, хрустели при ходьбе, а ещё до того наглаживала, что даже в конце рабо-

чего дня одежда её выглядела ничуть не хуже, чем утром – была такой же свежей и опрятной.

– Ну, наконец! С возвращением! – протягивает доктор руку, чтобы измерить пульс. – Знаете, в моей практике впервые такое.

Он ощупывает Богдану спину, прижимает что-то, дергает, осторожно постукивает, постоянно спрашивая:

– Беспокоит? Нет? А вот здесь? А здесь? И здесь не болит?

Получив в очередной раз отрицательный ответ, он в недоумении качает головой:

– Хм-м... Странно... Нет, не странно, что не беспокоит, странно, что при этом вы более трёх суток в себя прийти не могли. Главное, ни позвоночник, ни другие жизненно важные органы не задеты, а реакция организма на ранение... Да, реакцию вашего организма на ранение объяснить невозможно.

Врач ещё раз возвращается к ноющей после осмотра ране, внимательно изучает её, на этот раз едва прикасаясь, и снова остаётся недовольный собой.

– Видите ли, больной, осколочные ранения мягких тканей, даже множественные, как в вашем случае, ещё не повод, чтобы так надолго отключиться. И это не действие наркоза, нет, и не кома, и не потеря сознания... Вы... Извините, не боюсь показаться глупым, но вы как бы из времени выпали, понимаете?

Молодой человек молча хмурит брови, пожимает плеча-



ми, а потом, будто вспомнив что-то, с нескрываемой надеждой спрашивает:

– А голова? Вам голова, случайно, не болит? Нет? Может, ударились где, ушиблись ненароком? Или вас ударили, по голове? И снова нет? Ну, тогда я вообще ничего не понимаю. Ничего не могу понять. Правда, контузии не исключаю, хотя, опять-таки, и уши в порядке, и слух...

Доктор уходит, по ходу разочарованно сокрушаясь, что не может разобраться в возникшей ситуации. Женщина и себе возвращается на место, берет в руки незаконченный свитер, прикладывает к себе, словно примеряя, после чего решительно прячет в корзинку.

– Вот и славно, что на поправку идёте, ещё немного и – домой. А я тут вроде сиделки устроилась – пришла однажды спросить, чем могу помочь, меня и определили – то там посижу, то в другом месте, где больше нужна. Лежачих кормлю, судно ставлю, с этим поговорю, того выслушаю. Казалось бы, ничего сложного не делаю, но человека для другой, более важной, работы освободила. Сейчас вот к вам приставили. Вы не переживайте – не глазливая я, те, что у меня до вас были, своими ногами из больницы ушли. Меня Любой зовут, если что... Вы обращайтесь, не стесняйтесь... Я и по врача сбегая... и воды подам... и судно...

Слова Любы струились легко и ненавязчиво, будто течение реки, успокаивали и убаюкивали, и Богдан уже не знал, во сне или наяву к нему ещё раз приходил доктор, потом –

Наталия. Она и раньше приходила, поэтому он не удивлялся, правда, на этот раз остались в памяти совершенно приземлённые слова: «Устраивайтесь, дела свои решайте, а снимем повязки, если не передумаете – на работу выходите».

А ещё он помнил, как что-то мокрое капало ему на лицо и стекало за воротник. Провёл рукою по щеке – сухо, пощупал чуть ниже, пижаму, и обнаружил, что она влажная. «Возможно, вспотел, – боялся верить в лучшее, чтобы потом не сильно огорчаться и сожалеть. – Или перевязку делали, рану обрабатывали». Но перед глазами стояло лицо Натальи – ясное и спокойное, живое, не из сна.

Огляделся в поисках помощи, но, как на зло, и Любы почему-то рядом не оказалось. Вспомнил про специально оставленную сиделкой ложку, ударил ею по кровати, потом ещё и ещё...

«Богдан! Богдан!» – донеслось еле слышное.

Да, это была она, Наталия, только почему она в белом больничном халате? Неужели после смены так торопилась домой, что в больнице не успела переодеться? Или не захотела?

И снова что-то мокрое капало ему на лицо и стекало за воротник, но на этот раз он точно знал, что это были слезы жены.

–...Богдан, как вы себя чувствуете? Наверное, вам кошмары снились – во сне вы пытались встать, куда-то срывались бежать, звали какую-то Наталью... Нельзя вам ещё под-

ниматься, да и капельница стоит, далеко не пустит.

В словах Любы не слышно фальши, значит, это снова был сон, очередное видение, его надежда на встречу.

Неожиданно в коридоре раздаются голоса, дверь распахивается, и в палату мягко въезжает каталка. На ней – мужчина с немного странным, будто промерзшим взглядом. Он настороженно оглядывает комнату, словно изучает её, и тут же, выделив из общей массы главное, останавливается глазами на Богдане.

– А вот вам и компаньон, чтобы не скучали!

Доктор помогает санитаркам переложить больного на кровать, тщательно укладывает его перебинтованную ногу, привычно меряет пульс.

– Вдвоём веселее!

После ухода персонала новенький ещё некоторое время осторожно рассматривает Богдана, будто оценивает его на предмет вероятной опасности, потом перекрещивает руки на груди, устремляет свои озябшие глаза в потолок и, не проронив ни звука, застывает.

«О, как весело! Веселее не бывает!»

Немного выждав и отбросив в сторону условности, Богдан и себе внимательно прощупывает соседа по палате, справедливо полагая, что первое впечатление – самое верное.

Итак, мужик как мужик – не старый вроде, но и не молодой, правда, сильно изношенный, уставший, даже навскидку заметны следы от шлеи, да и по рукам видно, что работяга –

тускло-серые изгрызенные ногти на куцых сильных пальцах, с траурной каемкой вокруг и под, сроду-веку маникюров не знали, а сами руки, судя по всему, с недавних пор ещё и мылись крайне редко. Обветренное лицо в густой седой щетине, примятой с видимой Богдану стороны. Впалые щеки, обтянутые сухой кожей острые скулы...

– Чего зенки вылупил, не нравлюсь?

Человек на соседней койке все ещё не двигается, но слова звучат, на удивление, твёрдо – от былой затравленности и следа не осталось.

Все так же не поворачивая головы, он спрашивает:

– Ты чей такой будешь?

Не получив ответа, терпеливо, вроде несмышлёнышу, объясняет:

– С чьей стороны, спрашиваю, будешь?

Богдан все ещё не спешит отвечать, так как не понимает, какое это имеет значение.

– Ты меня понимаешь? Откуда ты, а? С Донецка? – мужчина уже более настойчив – он поворачивает голову лицом к Богдану, вопросительно заглядывает ему в глаза. – Нет? Со Львова?

Полученный ответ его полностью удовлетворяет, и уже не таясь, он облегченно вздыхает и заметно оживляется.

– Аа-а! Свой, значит, так бы сразу и говорил. То-то меня к тебе в напарники определили. И я оттуда.

Внезапное появление Любы возвращает соседа к его

прежнему состоянию. На тележке сиделки – тарелки с обедом.

– Ну, как вы, пообщались немного, познакомились? Понимаю, что место для знакомства не лучшее, а причина встречи – и подавно, но что поделаешь, если такое случилось? А я к себе заглянула, немного перекусила, теперь вот вам покушать принесла, сейчас кормить стану.

Женщина по-домашнему раскладывает салфетки, достает завёрнутые в вафельное полотенце ложки-вилки и обращается к недавно прибывшему:

– Вы как, Иван, сами будете кушать, или вас покормить?

Вместо ответа больной зашевелился, делая попытку встать, но тут же жалобно, как-то по-детски обиженно, скривился, что-то невнятно забормотал, и обессилено вернулся в лежачее положение.

– Хорошо, хорошо, только не двигайтесь! – тут же бросилась к нему на помощь Люба, засуетилась, будто насадка вокруг потомства, хлопотала. – Лежите спокойно, не поднимайтесь, если болит... Нельзя! Я сейчас... Я сама...

Женщина удобно укладывает Ивана, заботливо приподнимает его голову, приспособив под неё сложенную вдвое подушку.

– Вы извините, Богдан, я вас немного позже покормлю, ладно? Видите, человек сам не может, ему болит... – извиняется Люба, опуская вниз виноватый взгляд.

– Да я и сам управлюсь, мне не трудно, вы только тарелки

поближе поставьте, чтобы сподручнее было. Ну, и приборы, конечно, – принимает он условия игры, с удивлением наблюдая за фантастическим перевоплощением своего нового соседа в немощного инвалида, не способного без посторонней помощи даже дышать.

Но это был ещё не конец, это была только прелюдия большого представления, главным героем которого, и режиссёром одновременно, являлся Иван. Богдану традиционно отводилась роль благодарного зрителя.

Шоу продолжалось до самого вечера, поговорить удалось лишь после того, как Люба, вымотанная за день, ушла домой, а до этого Богдан с неподдельным интересом созерцал, как его невольный напарник лежит, развалившись на кровати, а вокруг него суетится сиделка. Правда, во время ужина, при виде скорбно открывающегося для приема пищи рта Ивана, Богдан еле сдержался, чтобы не захохотать вслух.

После ухода женщины с соседом случилось чудесное исцеление. На ноги, правда, он не встал – по случаю ранения, но метаморфозы были на лицо – мужчина снова стал самим собой.

– Думаешь, мне не противно? – не дожидаясь осуждения, обратился он к Богдану уже своим нормальным голосом. – Противно, конечно, но так надо. Понимаешь, у меня времени в обрез. Мне себя нужно беречь, силами запасаться. Уходить мне отсюда нужно, пока цел. Со здорового – спрос, да ещё какой, а слабому – простительно, слабого не тронут, по-

жалеют, на это мой расчёт.

Иван уставился в окно, будто стремился заглянуть в тревожную темноту ночи.

– Знаешь, как я здесь оказался? Врагу не пожелаю.

И после короткого молчания снисходительно:

– Расскажу – все равно не поверишь. Давай спать. Спокойной ночи тебе. Нам обоим.

Следующее утро началось с неожиданностей. Уже с первого взгляда Богдан заметил, что их добровольная помощница выглядит иначе, не так, как вчера – более нарядно, что ли, более празднично. Потом он уловил едва заметный запах парфюма – практически невесомый, еле-еле заметный запах, но он – этот запах, присутствовал, и это было главным. А ещё через мгновение у него вообще от удивления челюсть отвисла.

– Здравствуйте, ребята! Как ваше самочувствие, Ваня? А вы как себя чувствуете, Богдан? – на одном дыхании выпалила Люба и зарделась, как барышня на выданье. – Ой, чего же я стою? Мне же завтрак получать! Проголодались, поди, за ночь, кушать хотите? Так я побежала!

Сдавленный стон сквозь стиснутые зубы и сжатые кулаки соседа показали, что такой поворот в своём сценарии Иван не предусматривал. Завтрак, а за ним обязательные процедуры немного разрулили ситуацию. Закончив с делами, сиделка устроилась поудобнее, взяла в руки вязание.

–...Да разве кто знал, что такое случится? О том, что Сла-

вянск обстреляли, мы по телевизору узнали, из новостей – бомбили в четыре утра. Не верилось сперва – не враги мы, да и они вроде не фашисты, но – в четыре утра... Господи, в четыре утра! А потом... потом ночью – трассёры, как молнии, через всё небо, вслед за ними – бабах!, смотришь, уже горит, костром полыхает – у людей горе-беда. А дальше убитые пошли, обожженные, раненые. Страшно стало. Правда, страшно больше за детей, чем за себя.

Богдан сначала даже не заметил, когда Люба начала говорить, но то, что услышал, нестерпимо мучительной болью ударило в самое сердце.

– Мы на Куйбышевском живём, в посёлке. Раньше думали, что хорошо устроились: с одной стороны – аэропорт, дети там работают, с другой – жэдэвокзал, транспортная развязка, а как стрелять начали, так по нам первым. Однажды сын на работу ушёл, через час вернулся. «В аэропорту засели укры», – говорит. Оказывается, они с оружием там сидели, видимо, самолётами прибыли, ночью – мы к шуму такому привыкли, не замечаем, а там уже бои. Внутри бои... Что с людьми случилось, которые в ночную смену работали, до сих пор не знаем – были люди и... не стало, связи нет, нет информации. А ещё через пару дней – вертолёты, обстрелы, война. Уже не в новостях, не по телевизору, а дома у нас война.

Богдан попытался представить, что чувствуют люди, на которых падают бомбы и снаряды, но это не помещалось в



голове.

– У сына пацан только родился, жена ещё сырая, а куда деваться? Куда деваться, раз война?

В поисках ответа женщина посмотрела сначала на Богдана, потом перевела взгляд на Ивана. Богдан видел, как тот заерзал, напрягся, будто взведённая пружина, как у него на скулах заиграли желваки.

– В соседний дом снаряд тогда же, в первый день угодил, а наш стоит, живой пока...

«Пока...»

– Но дом живой, а жить в нем нельзя, понимаете? Как жить, если каждую минуту может прилететь, и уже не важно, с какой стороны, главное, по твою душу. И никто от этого не застрахован, а тут ещё дитя.

«Действительно, неужели погибшему не все равно, чей снаряд его убил? А вот живым нужно знать, кто создал ситуацию, в которой гибнут люди».

Женщина откашлялась и продолжила:

– Как начали стрелять, сын в тот же день своих в машину и – в Бердянск, к родителям невестки. Оказалось, и там беспокойно – море рядом, люди в неведении, что будет завтра. Да что там завтра – сегодня к вечеру. Два дня так просидели, не распаковываясь, а дальше рассудили, как бы не получилось из огня, да в полымя, решили в Россию ехать, просить убежища. Катя с Мишкой там остались, а сын домой вернулся, в ополчение ушёл – ему работу нужно возвращать,

аэропорт. Ну, а я здесь, при больнице. Мужа в шахте в девяносто седьмом присыпало, с тех пор одна. Дом отцовский неподалёку стоит, но одной страшно, мало ли что... Так я поближе к людям.

И снова слова Любы текли легко и плавно, будто течение реки, но на этот раз на душе оставался тяжёлый осадок, смесь вины и греха, и ещё чего-то необъяснимого, но в одинаковой мере тягостного и неловкого, такого, что было совестно поднимать на неё глаза.

Наутро Люба не пришла. Не было её и в обед. На тумбочке сиротливо лежал недосвязанный свитер и сумка со спицами и клубками разноцветной пряжи, а у входа тосковали забытые вчера домашние женские туфли.

Разговор не шёл. За целый день они не обменялись и десятком слов. Просто тупо лежали, всякий раз испуганно вздрагивая и обеспокоено поворачивая взор к дверям, когда слышали приближающиеся шаги, чтобы затем так же дружно отвернуться, сделав вид, что их ничего не интересует, если в палату входил кто-то другой, или вообще проходили мимо.

После полудня встревоженный Иван, уже не стесняясь, озабоченно смотрел на часы, стрелки которых неумолимо приближали вечер. И, наконец, когда их терпение достигло предела, а сердце заполнили отчаяние и боль, дверь бесшумно отворилась, милостиво впуская в палату сначала большой свёрток, а за ним и саму Любу с извиняющейся улыбкой на лице.

– А я немного задержалась, здравствуйте! Домой ходила, на квартиру. Убралась там немного, одежду кой-какую взяла, другие вещи, в хозяйстве необходимые, а ещё...

Она поставила кулёк на стульчик, и, будто волшебник, выудила из него небольшой телевизор, размером чуть побольше автомобильного.

– Теперь по вечерам не будете скучать – и новости можно посмотреть, и фильм, и ещё что-нибудь интересное. Мне он в квартире ни к чему – даром пропадает, сын тоже не часто заходит, а так хоть польза какая-то. Экран, правда, маленький, зато звук хороший. Я и тройник взяла, и переноску. Антенна вот здесь, наверху, стационарная. Большого количества программ не обещаю, но стандартные стабильно берет. С доктором я обо всем договорилась, он разрешил. Думаю, сюда, на холодильник, можно поставить – и мешать не будет, и с обеих коек видно, – приговаривала Люба, ставя телевизор на выделенное ему место и подключая к электросети.

На экране снежило, но женщина не расстроилась – принялась крутить настройки, подбирая действующие каналы. Её работу прервал телефонный звонок.

– Ольга, – разочарованно сообщила она, взглянув на номер, и ворчливо пояснила. – Соседка моя. И чего ей неймётся, на ночь глядя? Сегодня только виделись, всего какой-то час назад. И что за это время у человека могло случиться, что обязательно нужно звонить? Неужели до завтра нельзя

было подождать? Наверное, опять что-то старое вспомнила и решила рассказать, чтобы до утра случайно не забыть. Записывала бы, что ли... Нужно подсказать, непременно нужно подсказать, чтобы записывала.

По расстроенному лицу женщины было понятно, что Люба ждала известий, но, скорее всего, от другого человека, возможно, от детей. Все ещё делая вид, что дуется, она поднесла к уху телефон и уже открыла рот, чтобы ответить, как внезапно стала белее полотна. Выслушав собеседницу, она аккуратно, будто живой, отключила мобильный, медленно спрятала его в карман, трясущимися руками зачем-то поправила и без того безупречную причёску, потом бессильно опустилась на стул:

– Ну вот, этого и следовало ожидать – дома больше нет. Ольга говорит – снаряд лёг точно по центру. Хорошо, что сегодня сходила, убралась. И телевизор взяла. И Катя с Мишкой... И...

Глаза её заблестели, стали квадратно-горькими, но женщина не заплакала, только выше голову подняла, словно пыталась слезы удержать, и подчёркнуто безучастно произнесла:

– Извините. Я выйду ненадолго.

В оставшейся тишине было слышно, как где-то далеко гремит гром, или, вполне вероятно, не гром, а разрывы снарядов, один из которых только-что разрушил Любин дом.

– Она сильная. Такие на людях не плачут.

Давно уже Богдан не чувствовал себя более отвратительным и гадко, чем сейчас. Только глупый человек мог отрицать свою причастность, пусть даже косвенную, к тому, что случилось с домом Любы. Ночью он долго не мог заснуть – лежал, слушая, как ворочается у себя в кровати сосед, с ужасом представляя, что снаряд мог «лечь точно по центру», когда там находилась сама женщина, или её дети – Катя с Мишкой, или Любин сын. Потом вспомнил девочек, Наталью, а ещё – свою несостоявшуюся службу.

Казалось бы, начиналось все, как у людей – повестка из военкомата, сборы, направление в часть, и даже дорога на фронт. А дальше что-то пошло не так, мало того, не успев ни дня повоевать, он умудрился получить два не легких ранения, что само по себе заставляло задуматься...

– Вот тебе и «восточный фронт», вот тебе и война, вот тебе и перемога, – будто прочитав его мысли, подытожил раздосадованный Иван.

– Непонятно только, кто здесь «свои», а кто – «чужие», в одной стране ведь живём. По всему получается, что кто-то кому-то лапшу на уши вешает, к тому же, делает это очень тщательно и расчётливо. Не надо далеко ходить, по себе скажу, посуды.

Молчание, наступившее после этих слов, свидетельствовало, что к своим соображениям сосед хотел привлечь особое внимание.

– Здесь я – убийца, враг по определению, и никто не спро-

сит – стрелял или не стрелял, убивал или не убивал. Я был здесь – и этого достаточно.

Глубокий вздох, и продолжение:

– А там я, Богдан, дезертир. Да, да, дезертир, хотя свои же раненого на поле боя бросили. И это – все! Больше ничего не надо! Как не в лоб, так по лбу, но все равно виноват – если не с одной, то с другой стороны отвечать придётся, выбора нет, понимаешь? Замкнутый круг получается! Обложили, как бешеную собаку, со всех сторон.

В темноте было слышно, как Иван что-то бормочет, про себя возмущаясь, потом снова глубоко вздыхает, будто определяя границы откровения, после чего, наконец, собирается с духом.

– Я ведь здесь не по доброй воле.

Затяжная пауза, последовавшая за первым предложением, предполагала, что Богдан на эти слова непременно отреагирует, и от его реакции будет зависеть направление дальнейшего разговора, но ожидания Ивана не оправдались, и он снова заговорил.

– Думал, дома отсижусь. Оно мне надо – в моем-то возрасте, да ещё при таком-то здоровье? Я даже в молодости срочную не служил – по «белому билету» списали. В училище пошёл – сначала на штукатура-маляра, потом – на слесаря. А там – женился, дочь родилась. Дом свой практически сам поднял, с фундамента. Ещё один тесть вывести помог.

Мужчина даже оживился немного, повеселел, вспоминая,

как в молодости становился на ноги.

– Сделали что-то типа базы туристической – кровати двухэтажные соорудили, кухню со столовой оборудовали, генератор на дизтопливе поставили, баньку... От нас до Говерлы – рукой подать, турист и зимой, и летом в наличии – желающих посмотреть на мир с вершины Карпат всегда хватает, некоторые пару раз в году бывают, привыкают, с детьми приезжают, с внуками. К тому же, в часе езды – источники минеральные, пещеры карстовые, озера соляные, церкви деревянные... Не помню, век какой, но знаю точно, что церкви очень старые. Вот тут-то мы со своими удобствами и подсутились. Туристам хорошо, и нам не плохо – все довольны, однако. Эх, жизнь была! Работы невпроворот, спать некогда, а душа радуется! – вздохнул Иван с сожалением.

– Знаешь, к нам целыми группами приезжали – из институтов студенты, из техникумов, просто организации – взрослые, солидные люди, и никто не обижался – за чистую постель и прочие условия платили рубль. За сутки – один рубль, понимаешь?

«Тогда это деньги были», – вспомнил Богдан цены, которые девочкам приводил в пример: билет на городской автобус – пять копеек, на троллейбус – четыре копейки, на трамвай – вообще три, а сладкоежку Ксюшеньку ещё и стоимостью мороженого дразнил: в вафельном стаканчике – тринадцать, а пломбир – девятнадцать копеек за сто процентов натурального счастья. Действительно, что там говорить – рубль

авторитет имел.

– ...И только в колею попал, как тут тебе Майдан, первый. За ним – кризис экономический. Народа резко поубавилось, пришлось стоянку прикрывать, а сейчас и вовсе другой бизнес в ходу – ритуальный, не туристический.

Кровать тяжело заскрипела. Иван вцепился за прутья изголовья, подтянулся на руках и сел.

– А потом жена умерла, вторыми родами. После этого я с Богом и рассорился. Притом так разругаться умудрился, что в реанимации очутился – во время очередного запоя в драку полез, правую руку еле спасли – в ключице наизнанку вывернули, до сих пор маюсь. Хорошо, я леворукий – одно это и спасает. Оклемался, отлежался, вернулся из больницы, а дочери дома нема – у тёщи живёт. Еле вымолил у неё тогда прощения. Теперь вот выросла, красавица – вся в мать, своих уже двое. Обе – девочки, – просветлел Иван лицом, рассказывая о внучках.

– А как началась заваруха, зятю повестку из военкомата принесли. И куда ему, спроси? Кто семью кормить станет? Мы его в поезд и... в Россию, на заработки. Подальше от беды. Я из-за этого с начальством поселковым полаялся. Наши, местные, на такое сквозь пальцы смотрят – уехал человек, да и уехал, значит, надо, а этот приезжим оказался, чужим – взъелся так, что мочи нету. Загреб меня вместо зятя, получается, ничего, что инвалид, – показал он выше локтя покалеченную правую руку. – Теперь вот по его воле ещё и



колченогим стал.

Рассказ Ивана не был сенсацией – на заработки уезжали все, кто мог и хотел работать, дома оставались лишь малые дети и немощные старики. Один из центральных телеканалов даже фильм документальный об этом снял. В отдельных сёлах соседней области во время съёмок ни мужика, ни женщины трудоспособной не обнаружилось, все за границей оказались.

И то, что в Россию ехали, тоже не удивительно – работали там на стройках. На Западе украинские мужчины не котировались, все больше женщины – по хозяйству, по дому, по уходу за больными и пожилыми. Польша, правда, спасала – грузчиком можно было устроиться, на поле – ягоду собирать, но это – на сезон, на месяц-другой, не больше – задурно платить никто не будет. Он тоже так работал, хорошо, что язык знал – поляки равным себе не считали, но среди других работников выделяли. Ну, а то, что Иван с инвалидностью на фронт угодил, так это к военному претензии, да и сам не подсуетился, оплошал, на себя пусть обижается...

Утром, после перевязки и приёма лекарств, Люба включила новости. Показывали подписание Минского соглашения. Только теперь Богдан, который почти две недели жил без информации, понял, что означают слова доктора «выпал из времени», и это – в самом прямом значении.

– Думаешь, война прекратится? – спросил, кивая на экран, Иван. – Как бы не так! Не будь наивным. Видел я,

как на прорыв шли, когда в окружение попали, мимо «коридора зеленого». Вооружения сдавать не хотели, боеприпаса. Эти условие поставили – выходить без оружия, а наши рогом упёрлись. Потом действовали, кто как мог, на своё усмотрение, все равно общего руководства не было – командиры ещё в первые дни из зоны боев смотались, ситуацию на самотёк оставили. Многие мужики тогда по дурости своей погибли – напролом колонной двинули, там и полегли, а те, что сумели мимо «коридора» просочиться, пушками неучтенными обзавелись.

Иван задумался, будто ещё раз переживал недавние события, вероятно, непросто было там, где он намерен был.

– Оружие – это, брат, такое – если оно есть, значит, должно выстрелить. А добавь к нему дурь и бухло, и узнаешь, что по чем... Мне две недели на «передке» хватило, чтобы насмотреться, до конца жизни помнить буду. Как заноза в душу – болит, сука, а вынуть – невозможно. Нельзя вынуть, Богдан, с этим и жить буду.

Сосед надолго замолк. Богдан и себе прикрыл глаза, задумался. Вспомнил, как в первый день службы взвод, к которому он был прикомандирован, вывезли в посёлок и бросили. Как слепых котят, бросили – без приказа, без информации, и вообще без малейшего намёка на постановку боевой задачи или хотя бы на примитивный инструктаж. Просто вывезли, выгрузили и велели ждать.

Он так и не понял, что тогда произошло. Помнил только

ослепительную вспышку и строгое лицо матери перед глазами, а ещё, что в машине, в которой его доставили в больницу, кроме него, живых больше не было. По позвоночнику внезапно пробежал холодок, будто напоминание о лежавших вместе с ним в кузове грузовика трупам. Интересно, что с остальными его сослуживцами случилось? К тому же, кто ответит за гибель людей?

— ... Кто погиб, кто ранен, как я, — донеслось до него из соседней кровати, — а кто на минах подорвался. На своих. Знаешь, я все не пойму, зачем война? Ладно, где-то далеко, на Ближнем Востоке — в Ливии, в Ираке, или в том же Афганистане, за сотни километров отсюда, но дома зачем? Лежу себе, думаю, думаю, а понять не могу. Уже голова полиняла от этих раздумий, — провёл Иван пятерней по седым волосам. — А ещё не пойму, почему с ней, с этой войной, так возьмётся? Будто доброе что. Ну, чего я доброго сделал, скажи?

«Действительно, носятся с войной, вроде в стране другие дела закончились, и осталось только всем миром взять измором Донбасс. Как же он раньше этого не замечал?!»

После начала антитеррористической операции будто умом люди тронулись. Перед глазами его всплывает светлое пятно — из общей серой массы выходит пожилая женщина, размашисто крестится на образ Пресвятой Богородицы, демонстративно разворачивает клетчатый носовой платок, достает завёрнутые в него деньги и бросает в ящик для приношений. Сложенные вдвое гривны глухо падают на пустое

дно. На выходе женщина ещё раз крестится и уходит из церкви. Уходит, высоко подняв голову, ни на кого не обращая внимания, намеренно направляя взор мимо людей.

Он даже вздрогнул, словно снова почувствовал, как сгорал в тот момент от стыда и собственной нерасторопности, как рука его сама потянулась в карман, нащупала купюры, а ноги направились к ящику, к которому вслед за ним тут же выстроилась очередь из других прихожан. Выходил он из храма с чувством исполненного долга, понимая, что совершил благородное дело – помог не кому-нибудь, а самому «воину АТО».

Сейчас ему тоже было стыдно. Стыдно, что поддался чужому влиянию, что пошёл на поводу стадного инстинкта, который недавно ещё игнорировал. И чем он лучше тех, над кем прежде смеялся? Разве только, что они бровки с заборами красили, а он – деньги на войну сдавал.

Странное дело, но размышления Ивана напрямую задели его самолюбие, его гордыню, которой раньше он так кичился, а ещё – направили мысли совершенно в другую сторону, где была не одна, а две правды, и обе они заслуживали на признание.

–...Порядка нигде нет, нет ответственности, – рядом продолжал монотонно зудеть Иван. – Помню, строился. За оформление документов одному «на лапу» дал, потом второму, третьему... В итоге оказалось – «не соответствует разрешению на строительство». Разумеется, отказали во вводе

в эксплуатацию, пришлось по новой давать. Так и во всем – никто никого не проверяет, никто никого не контролирует, законы не выполняются, сплошной договорняк. А, представь, оружие на руках у людей появилось – сейчас отжим, как в девяностые, пойдёт, только ещё пуще – бывшие сидельцы вооружились, так что только держись...

«Действительно, нет порядка». Иногда Богдану казалось, что Украина похожа на семью, в которой родители потеряли контроль над детьми, и каждый живёт теперь, как ему вздумается, ни по каким вопросам друг с другом не пересекаясь.

– ...А ещё, не завидую я местным – никто не будет выяснять, кто в референдуме участвовал, а кто – не участвовал. Все под подозрение попадут, не отмоются – Киев им строптивости не простит, – произнёс Иван уверенно, как непреложную истину. – Их жизнь сейчас и ломаного гроша не стоит, особенно там, где добробаты стоят. Я бы на их месте... – Иван подумал немного, потом кивнул на экран. – Я бы на их месте ни на что не надеялся и никому не верил – заварили кашу, знать, должны до конца идти. Может, так и надо – судьба рискованных любит. Да и где гарантия, что потом зачистки не будет, что обе стороны будут соглашение выполнять?

Две недели назад Богдан с этим не согласился бы, но сейчас видел, что стоило Донбассу его несогласие с переворотом во власти в Киеве, и потери эти казались ему непомерно велики, катастрофически велики, и не было ни конца им, ни краю.

– Другие они, Богдан, не такие, как мы. Вроде без клея держались при Союзе, но и тогда не особо дружили, в одной стране, а порознь жили. А нынче такая трещина пошла, что никакой замазки не хватит, чтобы разрыв соединить. Да ещё в регионах князьки доморощенные голову подняли, решили и себе кусок пирога отхватить, всё пожирнее нороят. Законы свои, порядок свой в областях устанавливают, армии придворные собирают, огнестрелом вооружают. Надеются, что потом не спросит никто, а на таких, как мы, внимания не обращают.

При упоминании о частных армиях перед глазами Богдана появились тщедушные мужички с палками наперевес, марширующие между палатками на Майдане. К этим плюгавым «самураям» за месяц настолько привыкли, что даже не заметили, когда у них в руках вместо наспех сколоченной из фанеры и деревянных обрезков защиты, появились настоящие щиты, такие же, как у бойцов «Беркута». На подсознании, правда, возник вопрос, куда девались их владельцы и прочая амуниция, но вслух его никто не озвучивал. Позже бойцы этих отрядов, названные самообороной, возглавили уличные бои, и уже не казалось странным, откуда у них балаклавы и коктейли Молотова, как и то, кому эти люди подчиняются и кто им даёт задания.

К тому же, подобные отряды присутствовали и в каждой области – воздвигали на дорогах блокпосты, захватывали госучреждения и даже охраняли вместе с полицией об-

щественный порядок, что вообще друг с другом не стыковалось, поэтому он был немного удивлён, когда узнал, что причиной начала АТО в Донецке и Луганске было нападение местных на областные госадминистрации.

Все вроде верно: совершили преступление – отвечайте, но, с другой стороны, если быть объективным, то как тогда объяснить аналогичные захваты, к примеру, у них, во Львове? Честно говоря, он вообще не понимал, зачем захватывать то, что тебе уже принадлежало – и в администрации, и в областном совете в их городе свои к оппозиции люди сидели, а процентов восемьдесят депутатов вообще партийцами лидера Майдана Олега Тягнибока являлись. Что, спрашивается, нужно было менять – шило на мыло или наоборот? Да и зачем?

И по времени тоже как-то не складно получалось – если по факту захвата антитеррористическую операцию начинать, то обстреливать нужно было не Донецк и Луганск, а Киев и Львов, где государственные учреждения были заняты демонстрантами не в апреле, а ещё в январе-феврале месяце – в самом начале года. И то, как это происходило, сами протестующие не ленились выкладывать в интернет – погромы сопровождалась пожарами, уничтожением документов, порчей казенного имущества, и вообще – какой-то неестественно дикой радостью, будто ритуальные танцы у костров колдунов и шаманов, но тогда это не вызывало удивления, как и появление вооружённых блокпостов на дорогах, и других

революционных реалий по примеру Октябрьской революции семнадцатого года.

У Богдана до сих пор в глазах стояли отблески огня, когда молодые люди с закрытыми балаклавами лицами сжигали документы из кабинетов областного СБУ, а потом бросили в помещение гранату. Но не это даже его смутило – за погромом с восторгом наблюдали школьники, завёрнутые, как в коконы, в сине-желтые флаги, и гордость в их глазах за происходящее пугала...

Михаила он услышал ещё издалека, тот шёл по коридору и громко ругался по телефону.

– О, да вы, доктор, в одном месте их складируете? – присвистнул Миша, окинув взглядом палату. – Когда ни зайду, знакомые все лица!

Мишина реакция на присутствие в палате Ивана была вполне ожидаема, понятное дело – не друзья неразлучные встретились. Все ещё под впечатлением телефонного разговора, Михаил с шумом водрузил на прикроватную тумбочку увесистый пакет:

– Чтоб с голодухи не помер, пока я этих по степи собирать буду. Сентябрь на дворе, днём – жара, смердеть начнут. Хотя, о чем это я – они и так не шибко ароматно пахнут, даже живые. Ты напарника своего спроси, он тебе расскажет.

По поведению Михаила было видно, что он чем-то сильно расстроен и возмущён, хотя изо всех сил пытается держать себя в руках. С их последней встречи он сильно изменился



– страшно похудел, осунулся, одни глаза остались на лице.

– Да ладно, Бог с ними, ты-то как себя чувствуешь? Скоро на ноги встанешь? Как твоя спина? Только что доктора допросил, с пристрастием, говорит, нерв какой-то важный задело, время нужно, покой. А где его взять – этот покой? Может, тебе надо нервничать перестать? Слушай, а давай, я книжку тебе принесу? Про любовь, к примеру, для успокоения. Хочешь книжку про любовь, а? – полюбопытствовал Миша, но тут же вспомнил о травмах глаз Богдана. – Тю, ты, олух царя небесного! Как же я мог забыть! Какие книжки?! Извини, брат, совсем замотался – вторую неделю практически без сна. Иловайск, Дебальцево, аэропорт... Всё вместе. А ещё переговоры эти, соглашения, договора... Наши навскидку прикинули – по «коридору» близко трёх тысяч пропустили, грех на душу не взяли, правда, там все равно не оценили. Ребята говорят – знали бы, что остальные на прорыв пойдут, сразу бы соображали не «котёл», а «жернова».

Миша скрипнул зубами и совсем по-детски сжал кулаки. Его негодование выплеснулось наружу смесью обиды, досады, злости и какой-то щемящей вселенской боли, доселе живущих у него внутри:

– А сколько они народу положили! Просто так! Будто напроць мозги им отшибло – по-другому не скажешь! Чтоб идти напролом – большого ума не надо! Да что там ума! Иногда, чтобы выжить, достаточно элементарного инстинкта самосохранения! А тут, понимаешь, все наоборот – все себе

в убыток, все себе во вред! Включи они хоть каплю разума, знаешь, сколько потерь можно было бы избежать?! С обеих сторон. И за что пупы, спросить бы, рвали?

Из разрозненных Михайловых предложений Богдан понял, что произошло что-то необъяснимо трагичное, чего не должно было случиться, и избежать беды не удалось единственно по воле противной стороны, точнее, из-за нежелания этой противной стороны выполнять определенные условия по ранее достигнутым договорённостям.

– А оставили после себя! Описать не могу – слов не хватает! Такое впечатление, будто варвары прошли! Хотя, каюсь, варвары, наверное, постеснялись бы подобный погром после себя оставить. Они же в школах базировались, в домах брошенных, и даже в больницах. А прижали мы, не просто уходили, а, как эсэсовцы в Отечественную – камня на камне после себя живого не оставили, понимаешь? Все, чем воспользоваться не успели, разрушили. Уничтожили все, до чего руками дотянуться смогли. Кресты медицинские на машинах малевали, боровы, чтобы их без обыска пропускали. Оружие, суки, прятали, «Красным крестом» прикрывались, упыри...

Иван, казалось, врос в кровать, боясь привлечь к себе внимание, но Миша больше в его сторону даже не взглянул.

– Детям в школу не сегодня-завтра, а получается – некуда. Там, где эти стояли, сплошные руины – ни мебели тебе целой, ни сантехники, ни пособий учебных, ни литературы.

Даже стены исписаны свастиками и трезубцами, а ещё, прости господи, язык не поворачивается назвать, что они там делали и что покинули. До такого плачевного состояния помещения довели, что тебе не передать!

Понемногу Михаил перекипел, успокоился.

– Ну, да черт с ними, они своё получают, ты извини, не со зла ругаюсь, по необходимости. Ты, давай, лучше о себе расскажи. Тебе Наталья звонила? Нет? Странно... – озабоченно нахмурил он брови. – А мне показалось. Ладно, проехали, ещё позвонит. Ты, главное, брательник, поправляйся, на ноги станешь – другой разговор пойдёт. Короче, об этом потом, а сейчас мне бежать надо – не ровен час, опять чего-нибудь замутят, им верить – себя не уважать.

Миша ушёл, на ходу вынимая мобильный из кармана, а в душе Богдана опять, как когда-то во Львове, поселилась безотчётная тревога. «Что же такое ему показалось?» – думал он, так и этак прокручивая в уме ситуацию. Неужели Михаил общался с Натальей? Почему же тогда она ему, своему мужу, не позвонила? Горечи добавило его нынешнее неприглядное состояние – беспомощность и незащитность, связанные с потерей подвижности.

В последнее время спина его уже не только не болела, но даже не зудела, хотя двигаться он по-прежнему не мог. Доктор грешил на повреждение двигательного нерва, которое вызвало нарушение функции мышцы, и опасался, что возобновление её работы в настоящих условиях невозможно, да

и сам процесс восстановления слишком длительный по времени.

Богдан и сам понимал, что повреждение, нарушение – это да, это больше по врачебной части, и от него самого ничего не зависело, а вот что до времени, то время для него уже давно не существовало – просто было остановившееся пространство, в котором он чувствовал себя неподвижным остывающим бревном, обузой, чужим и лишним по определению. А ещё его беспокоило, с каким терпением к нему относились окружающие – ощущение было, что даже мысли о разнице между ним и своими у них не возникало, и это напрягало, заставляло чувствовать себя, по меньшей мере, должником.

Сегодня ночью, впервые после второго ранения, к нему приходил серебристый ворон, и впервые он только беззвучно открывал рот, будто потерял голос. Птица по-прежнему звала его за собой, а когда он отставал или сбавлял ход, ворон возвращался и больно клевал его твёрдым, как гранит, клювом, подгоняя вперёд.

«Что бы это значило?» – думал он, связывая молчание птицы с молчанием Натальи, которую в разговоре упомянул Михаил, а утром как-то неуверенно, бочком, в палату заглянула Татьяна Ильинична. Присев возле Богдана и удобно уложив на коленях перемотанную бинтами руку, коротко пояснила:

– Осколок.

Потом окинула взглядом сначала Богдана, затем – Ивана, и вынесла приговор:

– Украина превратилась в сплошной лазарет с тремя отделениями – хирургия, психиатрия и морг. Большинство уже здесь, а те, что ещё на свободе – все равно попадут, не отвертятся. Хирургия в этом списке – самый достойный вариант, страшнее, что пациенты психиатрии у власти.

Краем глаза он заметил, как дернулся Иван, но тут же возвратился к традиционно сонному состоянию, повернув, правда, голову так, чтобы лучше было слышно разговор.

–...И тебе не везёт, дорогой, – пожалела женщина Богдана. – Не успел из одного выбраться, как в другое попал. Как твои глаза, не болят?

И только после этого вопроса Богдан вдруг понял, что совершенно забыл, когда его беспокоили глаза. Мало того, в последнее время и зрение было намного лучше, чем даже день назад – исчез из глаз грязно-молочный туман.

Из рассказа Татьяны Ильиничны Богдан узнал, что супруг её, Володя, при последнем обстреле не пострадал, но «еще прошлого не расхлебал», что «девочки и дети – в школе», и что сама она по-прежнему сидит дома, а вот сейчас пришла на перевязку.

– Ой, да что же я все о себе, да о себе, а о главном сообщить совсем забыла! – всплеснула женщина руками, и просто расцвела на лице. – Третьего дня нам Дмитрий звонил, Олин сын, представляешь! Поздоровался и сразу: «Как вы,

тётя Таня, поживаете? Мы о вас беспокоимся!» А ещё о себе, о детях, об Ольге рассказывал. И о наших расспрашивал. Я целых пятьдесят секунд с ним беседовала, почти минуту, теперь сердце не болит – знаем, что все у них в порядке! Представляешь, так и сказал: «Мы о вас беспокоимся, тётя Тань!» – с удовольствием повторила она ещё раз слова племянника.

«И сколько человеку для счастья нужно? – подумал Богдан. – Чтобы родные были живы и здоровы. И все». Неожиданно в висках застучало, и что-то сжалось внутри, как всякий раз, когда он вспоминал свою семью, связи с которой по-прежнему не было. Мобильник сначала отвечал «абонент вне зоны», а потом и вовсе разрядился. Можно было, конечно, кого-нибудь из персонала попросить, чтобы зарядил его, но зачем? Пусть лучше будет так, как есть – соблазна не будет ещё раз позвонить, чтобы в очередной раз расстроиться.

–...Осень уже, – продолжала Татьяна Ильинична, – ночи холодные, а многие люди практически остались без жилья. Хорошо, если дом после обстрела сохранился, или малыми потерями обошлось – дыры заделать можно, и даже крышу перекрыть, хуже, когда вчистую разрушен, или выгорело полностью внутри. Власти, конечно, как могут, помогают – и материалами, и, если надо, людьми, но все равно много окон пленкой затянуты, или досками зашиты – нет стекла. Да и обстрелы продолжаются – что снарядами разносит, а что взрывной волной. Нередко – по второму кругу...

Женщина на мгновение задумалась, будто что-то решала про себя, потом безрадостно отметила:

– Доски, понятно, гораздо теплее клеёнки, только в доме солнца недостаёт.

Богдан вдруг отчётливо увидел и многоэтажки со слепыми рамами, и черные от копоти руины, и дома-подранки с заколоченными крест-накрест окнами и большими амбарными замками на дверях, но чужое – не болит, поэтому на слово поверил, что доски теплее и лучше клеёнки, ещё бы пропускали солнечный свет.

С недавних пор разрушения и трупы на дороге он больше не сравнивал с декорациями к фильму, но в голове его не помещалось, как нормальные люди, зная о результатах, могут продолжать обстреливать и убивать? И вопросы его имели точных адресатов, которые сидели, как ни странно, совсем не на Донбассе.

– ...Савва – в городе безвылазно, дома вообще не появляется. Иногда, правда, звонит, отмечается. «Работы невпроворот», – объясняет. Мы, конечно, понимаем, но все равно беспокоимся, переживаем: дитя – оно и в сорок лет дитя, тем более, время больно опасное – днём и ночью стреляют, не затихая.

Татьяну Ильиничну позвала на перевязку медсестра. Уже на выходе из палаты женщина на мгновение задержалась и тихонько призналась:

– Уже почти полгода стреляют, а я... а я всё не могу по-

верить, что к нам пришла война.

Богдан вспомнил первую встречу с Татьяной Ильиничной, её уверенный зычный голос – настолько звучный и густой, что в первый раз услышав его, он не сразу сообразил, что происходит. Потом её: «Ложись!», когда снаряд летел прямо на больницу. Сейчас же многое изменилось, и не только слабее люди стали, поменялись сами обстоятельства, изменилось всё вокруг. Время будто разделилось на «до» и «после», и трещина эта разрасталась на глазах, с каждой минутой уменьшая шансы вернуть страну обратно, вернуть в ту территорию, что была до февраля, и он всё больше убеждался, что процесс разрыва – необратим.

Притихший было Иван не выдержал тягостной паузы:

– Права твоя Ильинична, что-то пошло не так. И точно не будет – вынь мир, да подай, здесь кровь пролилась, а кровь – не вода, за неё отвечать придётся. Надежда на единую державу тоже тает на глазах. Сейчас главное – выжить. Самому выжить и вытянуть семью. И, по большому счету, к одному месту мне государство – оно меня не кормит, не одевает, и внуков моих не нянчит. Думаешь, за то, что я ранение получил, мне кто-то заплатит? Как бы не так! Как бы ещё не обвинили в неосторожности, или вообще не списали на бытовуху. Ну, типа, поскользнулся, упал, очнулся – гипс.

Иван горько рассмеялся.

– Меня в первый же прилёт осколком задело, да так торкнуло, что вырубился враз. Оклемался чуток, в себя пришёл,



смотрю, мясорубка вокруг, не приведи Господи – надо бежать. Стал подниматься, а оно не даёт. Понимаешь, нога не идёт. Вроде не болит, будто онемевшая, а идти – не идёт. Это сейчас доктор сказал, что ранение сквозное, слава Богу, кость не зацепило, а тогда – кровь ручьём, ниже колена в ноге дыра... Видать, сосуд кровеносный задело, так хлестало. Испугался – страшно. Все, думаю, конец! Приехали! И так, знаешь, на душе обидно стало! Так обидно! – горестно вздохнул сосед, добавляя жалости к себе.

– А потом осмотрелся немного, гляжу, воронка рядом – буквально в паре метров от меня, к тому же, глубокая – почти в человеческий рост. Прямо в траншею снаряд угодил. Меня к этой яме взрывной волной отбросило. Ну, думаю, повезло, в рубашке родился, люди говорят – в одно место второй раз не попадает. Приноровился я малость, ногу выше раны ремнём перетянул, а дальше ужом – и вниз, будто в нору. Не знаю, сколько там лежал, и сколько этот ад продолжался, но я молитвы, какие знал, и отца, и мать, и всех святых поодиночке и скопом вспоминал. Когда осколки над головой свистят, что угодно вспомнишь. Накрошило наших там, как... как капусты, прости господи, накрошило. Черти в пекле позавидовали бы, увидев, что творится. Хотя, опять-таки, это был не ад, нет – в ад по своей воле попадают, а здесь была утилизация.

После этих слов Иван отбросил ложные стеснения и уже откровенно рассказывал, как было и что случилось в «кот-

ле», о существовании которого Богдан даже не знал, так как ни по телевизору, ни в интернете не было никакой официальной информации. Всё, что говорили: «За Иловайск идут бои» и «Потерь нет».

—... Думаешь, зря я про утилизацию разговор затеял? Я был там, своими глазами видел, с ребятами в одном окопе жил, общался с ними – уж больно все на подставу смахивает. Посуди, в Киеве – парад, праздник государственный, а тут сепаратюги, типа, «котёл» заварили – чем не картинка для телевизора, а? Не верю я, что там, – ткнул Иван указательным пальцем куда-то в небо, – что наверху не знали, что тут творится, тем более, что идут какие-то специальные приготовления. Неужели разведанных не было? Ты же в курсе – здесь территории, что кот наплакал, если на одном конце аукнется – на другом откликнется. Конечно, трудно поверить, но нашим в Киеве практически марш по Донбассу пообещали, и в аккурат ко Дню независимости, мол – пришёл, увидел, победил. Нас сюда школьными автобусами свозили. Богдан, школьными автобусами! Знаю, что за гранью понимания, но это – правда. Сначала свозили, а потом без подкрепления оставили. Не удивлюсь, если сделали это намеренно. По разговору, у многих мужиков, кроме нескольких ходок, ни семьи, ни кола, ни двора. Вообще ничего. Даже вместо имени – погонялово, тю, ты, прости господи, хватался за пару дней, отвыкнуть не могу.

То, что добровольческие батальоны на добрую половину

состоят из бывших уголовников, никто давно не отрицал, как и то, что сначала эта публика прошла через «отряды самообороны» Майдана. Богдан и сам недавно в такую часть попал, спасибо покойному Цевину, помог оттуда выбраться. Понятно было, что после выполнения задания все эти люди окажутся лишними, и от оставшихся в живых свидетелей постараются тихо избавиться.

—... Через час-полтора стрельба пошла на спад, только изредка минометы работали, а ещё немного погода такая тишина установилась, что слышно было, как трава растёт. В этой тишине я и услышал разговор, от которого волосы на голове зашевелились. Раньше думал, про заслоны и заградительный огонь – пустая болтовня. Где же это видано, чтобы свои по своим же стреляли? А тут неожиданно оказалось, что и раненым на тот свет помогают уйти. Наверное, с благородной целью – чтобы зря не мучились, – с горьким сарказмом проронил Иван.

– После обстрела я попытался выбраться. Начал карабкаться – не получается, свалился пару раз – вверх, да ещё по свежей земле, это тебе не кубарем вниз, кроме того, притихшая рана забеспокоила, открылась. Просто огнём жжёт, дышать не даёт, каждый сантиметр – приступом. Полежал чуток, успокоился. Дай, думаю, помощи подожду, чтобы кровью не сойти или от заражения не загнуться. Если честно – боязно по глупости погибать, да и кому это нужно?

Иван рассказывал о произошедшем, как о чем-то буднич-

ном, не удивляясь ни обстрелам, ни убитым, ни собственно-  
му ранению, и страшно было, что для миллионов людей за  
эти месяцы война вошла в привычку.

–... Так вот, лежу я, слышу, наверху кто-то идёт, и прямо к  
моей яме направляется. Подошёл, остановился сверху надо  
мною, видимо, решал, что делать. За ним второй подтянулся.  
Этот не побрезговал вплотную подойти. Осмотрел все, как  
обнюхал. «Идём, здесь месиво сплошное, – приятелю гово-  
рит. – А этот и сам дойдёт, нечего руки марать, судя по луже,  
из него уже литра три накапало, не жилец на этом свете –  
однозначно».

Смотрю, ногу поднимает, я сразу и не понял, зачем, а он  
меня по пробитой ноге – хрясь! От боли я чуть не скрутился,  
в глазах потемнело – рана-то совсем живая, а он... по ней...  
со всего размаху. Не обессудь, не выдержал, прямо там же,  
на месте, обмочился. А ещё – испугался. Не поверишь, вро-  
де взрослый мужик, а испугался, аж поджилки затряслись –  
слишком стремной ситуация оказалась. Наверное, это меня  
и вырубило – второй раз за час. И вырубило, и спасло, мож-  
но сказать. В себя пришёл, смотрю – практически живой, по-  
том, правда, ещё раз нервы сдали, когда другие подошли...  
ну, эти... которые меня подобрали.

Даже увлёкшись рассказом, Иван усердно избегал слов,  
определяющих статус людей, которые спасли ему жизнь. Он  
хитрил и изворачивался, старательно подбирая им замену –  
то ли не готов был признать, кто находился по другую ли-

нию фронта, то ли понимал, что в случае признания придётся принять и всё, что с этими людьми связано.

– Крови я, конечно, много потерял, но лужа, которая на дне воронки была, не вся моя – там ещё несколько человек лежало. Их – на месте, прямым попаданием. Мне кажется, что и сейчас я чувствую запах горелой плоти, а ещё – запах протухшей крови, смешанной с мочой. На солнце быстро разложение идёт, – объяснил зачем-то прописное. – Жуть! Я лицом просто в эту лужу угодил, когда этот... подонок меня в ногу пнул. До сих пор живот сводит, как вспомню! Но получается, что мертвые меня спасли, а тот, что хотел прикончить... – не договорил Иван, видимо, обдумывая свои дальнейшие шаги.

Взгляд мужчины стал тяжёлым, глаза загорелись недобрым огнём, и после небольшой паузы он произнёс отдельно, не стесняясь в выражениях:

– Мне бы выжить сейчас. Да, чтобы здесь не пришили стогряча, а там я знаю, кого искать. Ничего, что в балаклаве был, я по голосу его узнал, чай, рядом служили.

«Интересно, конечно, получается, мертвые – спасли, а живые – просто подобрали. Хорошо, хоть их ни в чем противоправном не обвинил».

В это время тихонько скрипнула дверь. За разговором они и не заметили, как в палату вошла Люба, увидели только, когда она вышла. Женщина, скорей всего, слышала последнее обещание Ивана, но замечаний делать не стала, а тот, выдав

что-то наподобие мычания, сам себя пристыдил:

– Ну вот, напугал, старый хрыч, доброго человека, теперь надо думать, как выпутаться. Неловко как-то получилось, неудобно. Честное слово! Видит Бог...

Реакция Ивана на ситуацию была неожиданной, и абсолютно не вязалась с предыдущим его рассказом, в котором он выглядел не самым лучшим образом, особенно в конце, но Богдан давно уже не удивлялся, как быстро здесь меняются люди. Не стал исключением и Иван, который тут же стал строить планы, как будет извиняться перед Любой.

После смерти дома женщина словно потухла, даже голос её стал тусклым и бесцветным, будто лишенным смысла. В очередной раз в палате она появилась под вечер, да и то, чтобы только пожелать всем спокойной ночи, ни словом не обмолвившись о том, что слышала, а на следующий день с утра к ним пришла другая сиделка.

Как ни странно, Иван загрустил. Конечно, вслух об этом он не говорил, но было видно, что переживает. Кушал теперь он сам, не прибегая к помощи чужого человека, да и всё другое старался делать самостоятельно, без подмоги. А дальше – больше. Сразу же после обеда он попросил костыли, потом, то и дело непечатно выражаясь, слез с кровати, и, закусив до крови нижнюю губу, потихоньку выполз из палаты.

Не было его битый час, а когда пришёл, Богдан ему даже немного позавидовал.

– Прощения у Любы попросил. Хороший она человек, а

я её обидел, – спокойно произнёс Иван, и так же спокойно, без прежних увёрток и ужимок, продолжил:

– Поговорили мы. Во всём с ней согласен. И не потому, что я не прав, нет, а потому, что она права. Признаюсь честно, понравилась мне Люба. Понравилось, что настоящая – без фальши, без лукавства, не знаю только, встречу ли ещё когда. Ненадежно нынче в мире, уверенности нет – не знаешь, что с тобою завтра случится. Да что там завтра, тут бы до вечера дожить.

После этого сосед затих. Снова разговорился, когда стемнело.

– Понимаешь, Богдан, прожил я немало, и видел много, но то, что сейчас происходит, похоже на другую реальность. Впечатление такое, будто живём по меркам чужим. Или по сценарию чужому. И главное, понимаешь, нельзя от этого уйти – сзади такие же, как сам, подгоняют, упадёшь – не заметят, наступят и дальше пойдут, а все, что сделаешь по-своему – незаконным посчитают. Даже думать об этом запрещено. И не только здесь, кругом.

Богдан с удивлением слушал рассуждения Ивана, сознание которого менялось на глазах, вспоминал свои первые впечатления от расстрелянного Донбасса, а ещё – предсмертную записку матери, написанную за три месяца до начала войны: «Не хочу быть прорицателем, но времена меняются, сынок, что-то нехорошее готовится в стране. Даже в церкви, в храме Господнем, призывают к войне». Оказы-

вається, одним людям видіти з народження відкрито, а другим необхідно життя прожити, щоб очі відкрити.

–...Но главное, за несвободу эту приходится платить. К тому же, непомерно завышенную цену. Никогда не забуду, как мой одноклассник умирал.

При этих словах Иван потемнел, будто лицо его накрыла тень.

– Рак у него случился, желудком заболел. За неделю иссох весь, исхудал – ни пить, ни кушать, кричит только, когда поворачивают, чтобы пролежней не допустить, да кровью под себя ходит. Жена его к тому времени в Италии была, в семье работала. Вопрос стал, что делать: сообщить ей, что муж заболел – она сразу домой рванёт, тогда не за что лечить его будет, да и обратно на границе за нарушения не пустят, а не сообщить – обидится потом, что не рассказали.

«А если бы умер, что тогда?» – чуть не сорвалось у Богдана.

– Мама Игоря решила со сватьями посоветоваться, как быть. На семейном совете положили Анне ничего о болезни супруга не говорить. Не знаю, сколько здоровья им стоило это решение, но Игорю сделали операцию, несколько сеансов химиотерапии, а там, немного погодя, полегчало вроде – домой отпустили. Таблетки, правда, горстями глотал. Год так прожил, думали, выкарабкался, а он, возьми, да и помри. В одночасье. Аню вызвали уже на похороны. До сих пор перед ней себя виноватым чувствую, хотя, по большому счету,



чужой человек.

Рассказ соседа оставил по себе гнетущее чувство беспомощности перед обстоятельствами и такой щемящей безысходности, что впору было завывать от отчаяния и тоски, а ночью Богдан почувствовал лёгкий сквозняк и запах сырой земли. Внезапно ему показалось, что в палате, кроме них двоих, ещё кто-то есть.

Он широко открыл глаза, пристально всматриваясь в темноту, затаил дыхание, и даже шею вытянул, прислушиваясь к звукам вокруг себя. Старания его не были напрасны – буквально через несколько минут, когда от усердия глаза застлали слезы, в густом иссиня-черном мраке появились очертания человеческого силуэта. Казалось, темнота в том месте стала плотнее, чем кругом, самую малость плотнее, но все равно ощутимо для глаз. Помимо того, в голове промелькнуло, будто расплывчатые контуры фигуры на удивление знакомы, только вспомнить, кого они напоминают, он так и не смог.

Внезапно тёмный сгусток едва заметно шевельнулся, как бы с ноги на ногу переступил, а ещё немного погода повернулся и степенно направился в сторону окна. Почти неприметный кивок головы вместо приглашения, и силуэт беспрепятственно растворился в непроглядном мороке. Богдан последовал за ним.

Ночной прохладный ветерок заставил поежиться. «Осень уже, ночи холодные», – вспомнил Татьяну Ильиничну и

услышал:

– Присядь. Спешить все равно некуда – что мне, что тебе.

«Баба Варя!» – чуть не вскрикнул обрадованно, узнав по голосу недавнюю знакомую из Новосветловки, соседку родственников волонтера.

– Дал Бог ещё раз свидетелься, знать, нужда была. Ты, вижу, суматошный больно, никак не угомонишься, хотя молодой ещё, жить да жить тебе...

И только он хотел спросить про Василия, как баба Варя, будто прочитав его мысли, продолжила:

– Не успел Василий заехать ко мне, в дороге задержался. Кто же знал, что в том месте обстрел произойдёт? Видела давеча, прощения просил. А мне почто его прощение? Пусть Господь прощает, чай, сама ушла – время пришло. Знаешь, не страшно помирать, страшно перед Богом стоять, а я не то, чтобы нехристь какая, но в жизни вторую щеку не подставляла, вспыльчивой бывала, неправды не терпела, обман осуждала... А ещё... обидно как-то... – тень застыла на мгновение, будто раздумывая, – обидно как-то помирать в хлеву. А больше нигде. Не ожидала я, что заслужу такую неблагодарную кончину. Но, видимо, на небесах иначе рассудили. Ну вот, опять грешу, по-другому не могу, не привыкла только на Бога уповать.

Со скамейки послышалось лёгкое покашливание, должное обозначать смех, потом глубокий вздох. Тёмная фигура неторопливо встала, привычно передернула плечами, будто

поправила сползающую шаль:

– Пойду я. Светает уже, пора мне. Да и тебе возвращаться надобно...

На небе действительно занималась утренняя заря. В больнице начинался ещё один беспокойный день – по коридору, тяжело постукивая на разохшихся половицах, неторопливо плелись заспанные тележки, ворчала, намывая полы, санитарка, а в палате, на соседней койке, скрежетал зубами и кого-то спросонок ругал Иван.

Богдан вспомнил своих давних киевских знакомых – Ни-ну Ивановну и Александра Израилевича. Как они там – живы ли, здоровы? Все ли у них в порядке? После встречи с бабой Варей, после её откровения не по-детски защемило сердце. А ещё Наталья, девочки... Практически полное отсутствие информации о родных и недоступность общения с ними давно уже превратились в неподъёмный груз – камнем давили на душу, угнетали сознание, и только надежда на то, что супруга с детьми находятся в безопасном месте, спасала его от уныния и тоски.

– Ты чего, так всю ночь напролёт глаз не смыкал? – удивлённо спросил Иван, подтянулся к краю кровати и стал шарить под ней рукой. – Ну, ты даёшь, мужик! Не знаю, что это было, но ты сначала что-то про себя бормотал, потом вопросы кому-то задавал, правда, тут же сам на них и отвечал. Потом Василия упоминал, Варвару звал, точнее, Варю, ещё кого-то... И, главное, все это – с открытыми глазами, будто

вовсе не дремал!

В попытке залезть поглубже, сосед чего-то не рассчитал, качнулся и чуть было не упал. Красный от чрезмерного усердия и длительного пребывания в положении вниз головой, он несколько минут отдувался, приходя в себя, потом, немного отдохнув, снова свесился вниз, продолжая пыхтеть и тужиться. На помощь он так никого и не позвал.

«Упёртый. Наверное, привык только на себя полагаться».

– Слышь, Богдан, может, тебе стоит попробовать встать, не все же время лежмя лежать? Так и свихнуться недолго, не двигаясь. Ты у доктора спроси, что делать, поди, не маленький, а доктор обязан помочь – он на это учился.

Иван вытащил, наконец, из-под кровати костыли, удовлетворенно стукнул ими друг о дружку, словно испытывал на прочность, и стал неспешно подгонять под себя, продолжая пространно рассуждать, кто, кому и сколько должен. В конечном итоге философия его сводилась к одному – бери от жизни все, что можешь, авось когда-нибудь да пригодится.

Богдан понимал, что, по большому счету, всё правильно, но, с другой стороны, не понимал, как эту мудрость Иванову применить по отношению к себе – обездвиженному калеке, потерявшему за две недели все, что приобрёл за сорок семь лет предыдущей жизни.

– ...Вот, к примеру, у моей свояченицы ещё с одиннадцатого года венгерский паспорт на руках, и у детей её сертификаты на получение гражданства имеются. Ежу понятно,

специально заграничные документы они не афишируют, но и скрывать не скрывают, от людей не прячутся.

«Удивил, – подумал Богдан, вспоминая пол-Львова с польскими паспортами или «картами поляка». – Рыба ищет, где глубже, а человек... а человек, где доходнее».

– Думаешь, они одни такие? Да как бы не так! У них в посёлке больше половины местных украинским языком не владеют, и ничего – живут себе, не страдают, и учить не собираются. А зачем? Кого это смущает? Все равно, в конце концов, за границу работать уедут. У них даже роуминг не украинский. И «симки» венгерские. И школа. Ну, и все остальное – тоже, полный набор, включая церковь и погост.

– Так ты, Иван, из Закарпатья родом? – осторожно спросил Богдан, которому в предыдущем рассказе соседа некоторые вещи показались невероятно знакомыми, и сегодняшней разговор совершенно не вписывался в уже продуманную схему, ломая на корню все его прежние подспудные ожидания.

Мужчина сделал вид, что не заметил вопроса, продолжая подгонять под себя рукоятку костыля и свою незаконченную мысль:

– Это только на востоке «сепаратизм», а ненароком уплывут другие территории, ты не поверишь – все будет по закону. И закон найдётся, и воля граждан образует, и никаких претензий не появится – тишь да гладь, да Божья благодать, ни войны тебе, ни АТО, как на Донбассе, ни террористов с

сепаратистами не будет. Европа, брат, она такая, тут нужно поучиться, как сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы не задеты. Не у всех, как у них, получается.

Про Европу Богдан знал, вернее, у него на этот счёт имелось своё суждение, и связано оно было с Майданом, где европейские чиновники являлись частыми гостями. Его тогда удивляло, что они приветствуют баррикады и протесты на улицах Киева, хотя только в декабре по телевизору показывали, как расправляются с митингующими в Германии – тушили из водомётов, будто пожар, считая уличную демонстрацию вопиющим нарушением законности и порядка, не забывали пускать в ход и слезоточивый газ с резиновыми дубинками.

Ребята, с которыми он жил в палатке, и себе нервничали, боялись, как бы их так же в мороз не окатили из брандспойта ледяной водой, как в Гамбурге, но потом пришло сообщение, что беспокоиться незачем – при температуре ниже плюс восемь применять водомёты для разгона митингов нельзя, и Брюссель уже предупредил об этом Банковую. Оставалось гадать, неужели в Германии в конце декабря были тропики?

После завтрака коллега по несчастью приловчился и ускакал на казённых ногах путешествовать по больничным окрестностям, а Богдан снова остался наедине со своими мыслями. В такие минуты ему казалось, что он – один в целом свете, и никто уже не сможет помочь ему избавиться от этого опостылевшего одиночества.

Он закрыл глаза, и сразу же увидел бабу Варю. Женщина зябко куталась в платок возле сарая... И вдруг:

– Папа, ты где? Ау-у! Папа! – послышалось из коридора.

Дверь палаты широко распахнулась, пропуская внутрь сердитого мужичка с огромным светло-зелёным яблоком в руках.

– Так вот, где ты спрятался! А я ищу, ищу... Думал, я тебя не найду? А как же! Давай, выходи уже!

Мальчик бросил яблоко на кровать, уцепился за край одеяла и, что есть мочи, потянул на себя. От неожиданности Богдан опешил, но инстинктивно схватился за второй край и потащил в свою сторону. Ребёнок обиженно засопел, однако занятия своего не бросил – с ещё большим рвением навалился всем телом на одеяло и почти выдернул его из рук Богдана, когда в комнату вбежала молодая женщина.

Смущённо улыбаясь и непрерывно извиняясь, она взяла малыша за руку и попыталась увести его в коридор, что вызвало у мальчика обратную реакцию, и к своей борьбе он подключил давно проверенный приём – оглушительный рёв. Война обещала быть не шуточной.

– Генка, это не наш папа. Наш папа – в соседней палате, а здесь лежит чужой дядя, – пробовала женщина объяснять сыну ситуацию, но тщетно – ребёнок слушать не хотел, продолжал вырываться из рук, истошно орал и возмущённо дёргал неподдающееся одеяло.

– Генка, слышишь, это не папа!

– А я говорю – папа!

– Не папа!

– А я говорю – папа!

Положение спас подошедший доктор.

– Молодой человек, – произнёс он строго. – Кричать в больнице запрещено.

Не понятно, что сработало, то ли белый халат, то ли строгий тон, но мальчик замолк на полуслове.

– Ваш отец находится в соседней палате, но если вы будете так невоспитанно себя вести, вас к нему не пустят – ему покой нужен, а то, что вы делаете – непозволительно.

Минута увещеваний вперемежку с просьбами и обещаниями, и мать с успокоившимся малышом ушли, а доктор привычно осмотрел рану, задал дежурные вопросы, потом, нахмутив брови, что-то вписал в историю болезни.

– Не понимаю, что с вами не так. Все возможное, и даже больше, перепробовали. Придётся принимать радикальные меры.

Что он предпримет, доктор не сообщил, оставив место для предположений и догадок, поэтому в ближайшее время, вплоть до возвращения Ивана, Богдан обдумывал самые различные варианты своей реабилитации. И чем больше он думал, тем темнее становилось у него на душе и в глазах.

– Ты чего в сумерках лежишь? – удивился Иван, щёлкнув выключателем.

Медленно, по стенке, он зашёл в палату, осторожно при-



сел на кровать, и несколько минут так сидел, выпрямив спину и опустив безвольно руки, отдыхая.

—...Устал с непривычки. И ногу тянет. Кажись, маленько силы не подрассчитал. Не навредить бы себе невзначай, сейчас это очень некстати.

Тускло-серое, будто бескровное, лицо Ивана, действительно, выглядело не лучшим образом. Об усталости свидетельствовали и мешковатые круги под глазами, и воспалённый заиндевелый взгляд, и нескладные, слегка заторможенные движения, когда Иван, закусив губу и осторожно поддерживая раненую ногу, карабкался на кровать. Но больше всего поразило Богдана, что уже через несколько минут сосед, как ни в чем не бывало, подначивал его.

— Не завидую я тебе — лежишь, извини, бревном, и толку с тебя, что с козла молока. Я вот пробежался маленько, — шутливо похвастался он, благодарно погладив костыли, — обстановку разведаль, с людьми пообщался, новостями разжился, а ты все лежишь. Под лежачий камень вода не течёт, давай, шевелись уже, за тебя никто другой не встанет, как бы он не тужился.

«Не в бровь, а в глаз», — признал, отмечая, как быстро смог понять Иван происходящее, и это было особенно неприятно. Чувствуя себя бесполезным балластом, он и сам себе не завидовал, от вынужденной неподвижности совсем извёлся, но выйти из этого тупикового состояния никак не удавалось. При малейшем желании встать, подняться, нечеловеческий

страх сковывал все его тело, да так, что позвоночник деревенел, отказывался подчиняться, и не было силы, чтобы заставить его двигаться. Объяснить такое положение дел он сам не мог, а доктору рассказать опять-таки стеснялся.

—...Отец мальчика, что к тебе заходил, через стенку с нами обитается, с ним еще один — наш волонтер. Неважные оба. Наш вообще в беспамятстве. Эх, судьба-судьбинushка — здоровых и живых разбросала, а раненых и мертвых — свела!

«Неужели Василий?— пришёл на память разговор с бабой Варей. — Так вот, где она его видела!» По коже неожиданно пополз холодок, а в воздухе пахнуло сырой землёй, как недавно во время ночной встречи, а ещё — чем-то тоскливо-терпким, будто ожившая тревога. «Где же тогда второй волонтер, его напарник? Живой ли он?» О худшем думать не хотелось, тем более, он достоверно не знал, кто лежит в соседней палате, вполне возможно, что вовсе не его знакомый — ни один, ни другой.

—...Молодой совсем, жаль, не уберется. Обидно, конечно, если сына оставит сиротой. Жена завсегда другого мужика найдёт, а что дитя без отца расти будет — это да, это — без обсуждения... — продолжал монотонно причитать сосед, рисуя мрачные картины воображаемого будущего.

Последние слова Ивана вернули его домой, в тот день, когда он получил повестку. «Может, не пойдёшь? У нас дети, Богдан, им отец нужен...» Казалось бы, суть одна, что у него, что у этого парня. И суть одна, и держава одна, почему же

они оказались друг против друга по две стороны баррикады, да ещё с оружием в руках?

Сам того не понимая, Иван разбередил незаживающую рану. Хотя, в общем-то, ни в чем он не виноват – у человека всегда есть выбор, досадно только, что прошлое изменить нельзя.

Бессонная ночь и не менее беспокойный, муторный день дали о себе знать – после ужина Богдан будто в омут нырнул с головой. Проснулся он от острой жажды, и только хотел взять стоявшую рядом, на стульчике, бутылку с водой, как услышал, что кто-то поблизости шепчется. Он так и застыл с протянутой в воздухе рукой, настороженно всматриваясь-вслушиваясь в темноту, чтобы случайно не пропустить какое слово.

Беседующие, по-видимому, тоже заподозрили неладное, так как разговаривать перестали, а потом и вовсе человек, сидевший возле соседней кровати, бесшумно поднялся и так же молча вышел. Волна воздуха, сопровождающая его движение, донесла легкий сладковатый аромат – запах духов Любы.

Стараясь сильно не шуметь, Богдан не спеша опустил замлевшую руку, растёр возникшие иголки под локтем, и вдруг – бабах! – что-то глухо ударило о деревянные половицы и покатилося по комнате. «Яблоко!» – с улыбкой вспомнил в руках у мальчика надкушенную, и брошенную к нему на кровать, антоновку.

Утром о ночном происшествии никто не обмолвился ни словом – ни он, ни Иван. Оба усердно избегали встречаться друг с другом глазами, и так же усердно изображали, что на самом деле ничего необычного не случилось – ночь, как ночь, мало ль что могло пригрезиться? Расклад изменился, когда перед обедом в палату заглянула Люба.

– Здравствуйте, ребята! Как поживаете? – спросила она и, не ожидая ответа, прошла к кровати Ивана. – Ваня, я с утра Оксане звонила. Девочки как раз в школу собирались, тебе привет передавали. Представляешь, она отпуск за свой счёт взяла, специально, чтобы к нам приехать, тебя навестить. Еле отговорила. Пообещала дать знать, когда обстановка стабилизируется. Ну, куда ей сейчас, подумай? Даст Бог, немного успокоится, обстрелы прекратятся, тогда и поговорим – по ситуации решим, что делать, а пока... а пока пусть дома сидит, не ровен час. Да и работу легко потерять, труднее – найти.

Наклонившись над сумкой, женщина не видела, как расправил плечи Иван, и, как отвисла челюсть у Богдана. Судя по тону и содержанию разговора, нынешний звонок не был первым, и означал, что Люба с Иваном намного теснее общаются, чем он предполагал.

– Я вам пирог принесла, домашний, с яблоками.

«С антоновкой?» – еле сдержался, чтобы не рассмеяться, заметив быстрый взгляд соседа. По комнате поплыл дразнящий аромат ванили и свежесваренного фруктового варенья,

а он вспомнил дом.

«...– Ксюшенька, зови папу чай пить!»

– И кто бы что не говорил, когда антоновское яблоко дойдёт, «Цветаевский» особенно хорош, – ставила на стол блюдо с ароматным, ещё тёплым пирогом Наталья.

Спорить с ней никто не собирался. Превосходная хозяйка, к пирогам супруга особой привязанности не питала, справедливо полагая, что свежую сдобу всегда можно покушать в кафе или купить в кулинарии, где её изготовлением занимались профессионалы, но этот пирог получался у неё выше всяких похвал, так что были все основания важничать...»

Домашние воспоминания отодвинули в сторону последние события, будто и не было ничего – ни войны, ни ранения, ни больничной палаты с таким же, как он сам, незадачливым напарником. Богдан даже зажмурился, как в детстве, в надежде, что откроет глаза уже в другом месте, но вместо мнимой телепортации вдруг явственно услышал знакомый голос.

– Ты как? Живой? Ну, слава Богу, а то смотрю – глаза закрыл и не шевелишься! А я тут мимо проходил.

Михаил неуклюже садится на стул.

– Зашёл поблагодарить. В тот раз я даже не успел сообщить, смотрю, ты на меня валишься, и сразу – уух! А потом, ка-а-ак шандарахнуло! Жесть! И вот, – тяжело вздыхает он, – меня только оглушило, а ты – опять лежишь. Получается, я тебе должен. Ты мне жизнь, получается, спас. Теперь

ещё родней стал, уже не понарошку, а по-настоящему. Даже не знаю, что с этим делать...

Поговорив ещё минут пять, Миша засобирился уходить. Он достал из кармана старенький мобильник, включил его, и через несколько секунд раздалась настоящая канонада сигналов о не принятых звонках и смс.

– И так – круглосуточно, уже забыл, когда нормально спал. Отключился немного, чтобы с тобой поговорить, сейчас разгребать буду, – пожаловался он под сопровождение входящего звонка.

Лицо Миши вновь стало непроницаемо-жестким, будто высеченным из цельного камня или куска... угля. Богдан даже представил на миг, что брат его нечаянный вырезан из породы, которую в шахте добывал – сила в нем недюжинная оказалась, без червоточин и обмана, с такими людьми даже потерять не страшно, а уж найти!..

Где-то в самом дальнем уголке сердца у Богдана шевельнулось чувство, напоминающее гордость, что Михаил – его брат, и не понарошку, как он сказал, а по отцу, по крови. Уже спокойнее, чем прежде, он прожил день, но ночью его снова навестил серебристый ворон. Сверкнув блестящим глазом, он внезапно застыл, будто в удивлении, потом выдал что-то среднее между скрипом не смазанной телеги и входной двери. Богдан открыл глаза. Прислушался. Птица пропала, но звук её голоса снова повторился, а его захлестнуло ощущение стороннего присутствия, и от присутствия этого исхо-

дило такое глубокое чувство опасности, что он содрогнулся от мгновенно накрывшего его звериного страха и непреодолимого желания спрятаться, зарыться куда-нибудь, чтобы не слышать этой громкой тишины, или бежать, куда глаза глядят.

Непроницаемая тьма окрест сгустилась до состояния зловещей безнадёжности, казалось, даже завибрировала, задрожала в предчувствии предстоящей беды. Он неподвижно замер, стараясь не выдать себя. Так уже было когда-то в детстве, в сельском доме, и причиной его ночного кошмара тогда явились воспоминания о Настасье.

После её смерти бабушка долго горевала. С самого утра она сжимала и так незаметные губы, смотрела сквозь Богдана с мамой невидящими глазами, и только тяжело вздыхала. И так каждый божий день. Богдан даже обиделся на неё – ему казалось, будто для бабушки ни он – её внук, ни родная дочь ничего не значат, и если, не приведи господи, что-то случится с ними, она даже не заметит этого.

После обеда на сороковины, выпившая за помин души Анастасии, давно не молодая соседка на удивление больно вцепилась Богдану в руку, наклонилась к самому его лицу, и, дыша в лицо живым самогоном, хрипло просипела: «Ты, Бодя, бабулю свою не сторонись – у неё жизнь надорвалась, но ещё горше будет, если надрыв не остановить. Эх-х, пропала душа...» Женщина оставила в покое его руку, но, вспомнив что-то, снова сузила глаза и таким же громким шёпотом до-

бавила: «Прошу – имей совесть, будь человеком, у неё, кроме тебя с Ядвигой, никого не осталось».

Услышанное больше удивило, чем испугало его – о своей ревности к усопшей он никому не говорил, даже маме, поэтому был в замешательстве, что совершенно чужой человек догадался о его потаённом. И тогда, чтобы исправить положение и вернуть себе бабушкино расположение, Богдан попросился на ночь в маленькую комнату.

Приготовления заняли время, но запертая на два оборота ключа дверь, палка от старой швабры в углу, лампа под абажуром на тумбочке возле кровати, рядом с ней тарелка с «таблетками от голода» – тонко нарезанными кружочками домашней колбасы, и книжка в руках – всё, что должно было унять выпрыгивающее из груди сердце, дало желаемый результат – Богдан постепенно успокоился и скоро уже не вздрагивал от каждого шороха за окном и не оглядывался всякий раз по сторонам в поисках привидения. К тому же, повесть оказалась настолько интересной, что он даже пожалел немного, что не успел дочитать её до конца, когда начали смыкаться глаза. Зевая, отложил книжку, мельком взглянул на старый механический будильник, и только потушил ночник, как вдруг понял, что что-то пошло не так.

Сон как рукой сняло. Он замер, чувствуя, как стынет от страха спина, а на лбу появляются капли холодного пота, прислушался, но прошло минут пять, прежде, чем сообразил, что его сбilo с толку – будильник не тикал, молчал, хотя



всего час назад он лично его заводил. Когда паника немного улеглась, он потихоньку дотянулся до светильника и щелкнул выключателем. Лампочка ослепительно вспыхнула и... лопнула, зазвенев отвалившейся спиралью.

Дрожа от страха, Богдан по самые глаза зарылся в одеяло, прислонился спиной к стенке и услышал, как кто-то тихонько, но настойчиво, стучит в дверь... Потом постучали в окно... и в стены... и даже в потолок...

Вот и сейчас, как тогда в детстве, он лежал, не двигаясь, лихорадочно соображая, что происходит в темноте вокруг него, еле сдерживая сердце, гулкие удары которого, казалось, можно было даже потрогать на ощупь.

Когда напряжение достигло предела, он вдруг почувствовал, как что-то плашмя ложится ему на грудь, невидимые тиски сковывают движения, не дают ни дышать, ни шевелиться. Это «что-то» было тяжёлым, будто свинцом налитым, как бывает тяжёлым обмякшее безжизненное тело, а ещё – не чужим, он ощутил это кожей, и чувство близости только усилило тревогу.

Сколько продолжался этот ужас – секунду, две, возможно, час или дольше, он не знал, потом послышался судорожный вдох, больше похожий на всхлип, после чего дышать стало легче.

В себя он пришёл от звука закрываемой двери. О произошедшем свидетельствовали лишь онемевшее тело и тупая боль в груди, где недавно, как ему показалось, лежал чело-

век.

А ещё через несколько минут в больнице началось особое оживление, что являлось признаком очередного обстрела – одна за другой подъезжали сигналящие «неотложки», по коридору сновали-стонали груженные тележки, слышалось глухое шарканье нескольких десятков торопливых ног и короткие команды старших.

Персонал работал, как единый организм. В мирных условиях такая слаженность нарабатывалась годами, сейчас же опыт определяла война.

Пронизывающие воздух тревожность и волнение не обошли стороной и их палату – даже Иван притих, оставив в покое свои привычные заезженные шутки, которыми прежде, как начинал, так и заканчивал день. Сам же Богдан спокойно прислушивался к звукам за дверью, интуитивно полагая, что на данный момент это его единственная возможность понять, что происходит, хотя подсознательно ничего хорошего не ожидал.

Нервов добавилось, когда в комнату закатили тележку с раненым человеком. Озабоченные медсёстры без единого слова пристроили её у входа, проверили работу подключённой внутривенной системы и тут же поспешно убежали, а чуть позже, оставшись наедине, они с Иваном узнали, что пострадавший от обстрела – ребёнок.

Профессиональные повязки на голове и руках девочки-подростка означали, что над её ранами успели потрудить-

ся врачи, а глубокое дыхание – что она спит под действием наркоза после операции.

Богдан смотрел на худенькое бескровное лицо раненой, одного цвета с бинтами и простыней, и молился о её здоровье.

– И что скажешь? – не выдержал возникшего напряжения Иван. – Что отцу её скажешь... или матери? Все равно, кому из них... что скажешь? Что ответишь им?

Понятно было, что сосед не ждёт ответа, что ему нужно просто выговориться, чтобы унять душевную боль.

– Молчишь? Опять молчишь! Тебе хорошо: молчишь – и все понятно, а мне что с этим делать, не хошь сказать? Что делать мне – не хочешь дать совет? Да куда тебе, – махнул он удручённо рукой, – это ведь не рецепт пирога... фруктового...

Надрыв в голосе Ивана выдавал его смятение, ведь те же самые вопросы он мог услышать от Богдана, услышать в свой адрес, и это была ловушка, самая настоящая ловушка, западня, в которую они попали оба, и сделали это осознанно, по своей воле, приехав воевать на Донбасс, где жизнь поставила их перед фактом, не оставив выбора – рядом с ними лежало раненное дитя, и оба они чувствовали себя виновными в том, что произошло.

Богдан вспомнил, как однажды прочитал в соцсетях: «Ни один так называемый «сепаратист» Юго-Востока не убил ни одного ребёнка с Западной Украины». Тогда это сообщение

вызвало у него противоречивые чувства – отчасти он понимал автора, так как война шла только на территории Донбасса, и мирные жители гибли тоже только там, но также он понимал, что параллельно с войной в окопах шла ещё одна война – информационная, поэтому частично воспринял комментарий, как очередной пропагандистский трюк.

И даже когда сосед его, Николай, показал фотографии убитых во время бомбардировки Луганска, он по-человечески испытал сочувствие и сожаление, но сердце его не дрогнуло, как сейчас, и не потому, что черствым был, нет, просто на снимках находились незнакомые ему люди, сейчас же ситуация абсолютно изменилась.

Внезапно ресницы спящей дрогнули, потом ещё, второй раз, будто она пыталась открыть глаза, дыхание её сбилось, участилось... Они даже дышать перестали, чтобы нечаянно не напугать девочку, не помешать её пробуждению.

И вдруг в уголке глаза ребёнка показалась прозрачная капелька. На мгновение слезинка задержалась, обрастая болью, потом медленно покатила по щеке, оставляя по себе едва заметную узкую дорожку. Она катилась целую вечность, и вечность эта состояла из жизни и смерти, из прошлого и настоящего, а ещё – из растерянности, недоумения и обиды на мир, детской обиды на взрослый мир.

Слеза неторопливо исчезла в повязках, скрывающих раны, дыхание девочки снова выровнялось, но она так и не пришла в себя.

Потрясённый Иван заскрежетал зубами, не стесняясь, выругался и стиснул рукоятку костыля так, что тот не выдержал – лопнул.

– Пресвятая Богородице, что я здесь делаю?

Ответа не последовало – Богдан не знал, что сказать, а Пречистая Дева, видимо, не сочла нужным отвечать. На поверку оказалось, что два взрослых мужика бессильны перед крошечной частичкой горя, и эта беспомощность ещё больше терзала и мучила.

– А ведь мы их со всех сторон обложили... Как на охоте. Флажками затащили, двумя рядами, чтобы прорваться не смогли... Людей обложили, как зверя... Людей, как зверя, затравили, – будто сам удивляясь тому, что говорит, как заведённый, повторял Иван. – Но волчица, от охотников слышал, если детям её угрожает опасность, может прорвать даже огненное кольцо.

Мужчина беспокойно метался по палате, что-то бормотал себе под нос, затем, устав ходить, садился на табуретку и, уставившись в одну точку, раскачивался, как маятник. В перерывах между этими бессмысленными занятиями он подолгу стоял у кровати раненой, грузно опираясь на костыли и прислушиваясь к её слабому дыханию, словно хотел хоть чем-нибудь ей помочь.

Спустя некоторое время Иван подошёл к окну, направил взгляд на небо, и так застыл в молчании. Только ближе к вечеру, немного успокоившись, он заговорил:

– Когда Оксанка моя в таком же возрасте была, соседка пошутила, что в доме пауков трогать нельзя.

Увидев изумлённый взгляд Богдана, объяснил:

– Чтобы деньги водились. Да-да, чтобы деньги водились! Тамара пошутила, а дочка её шутку всерьёз восприняла. Примерно через неделю наш дом превратился в террариум. Каких только тварей о восьми ногах у нас тогда не перебывало! До сих пор не понимаю, где она их брала. Правда, кроме пауков, ничего больше в доме не завелось... – вымученно усмехнулся Иван своим мыслям.

Настроение его менялось каждую минуту – от нервного смеха до полного отчаяния и хандры. И говорил он только об одном – о дочери, которая была нечаянной радостью его и смыслом всей его жизни, и раненую рассматривал, именно, как дочь, как дитя, пусть даже чужое. Сам того не ведая, Иван поставил знак равенства между детьми – родными и чужими, и этим подписал себе приговор – понятно было, что к прежней жизни он больше не сможет вернуться.

В том месте, где у Богдана когда-то было сердце, снова заныло-защемило – и его девочки в детстве принимали всё за чистую монету. Однажды Таня, услышав, как бабушка жаловалась: «Что-то я совсем духом упала», без задней мысли посоветовала: «Ты, бабуля, старый дух не поднимай, ты новый себе заведи, здоровый, чтобы больше не падал». Вот, если была бы возможность новый дух завести, а ещё – новое сердце, новую душу, чтобы можно было случившееся пере-

жить, не отчаявшись.

А вскоре выяснилось, что действительность ещё хуже, намного хуже, чем они предполагали, и было чего беспокоиться.

– Наша девчушка, поселковая, – горестно вздохнула подоспевшая вскорости Люба, машинально поправляя на девочке простыню. – Отца её в самом начале не стало – в ополчение ушёл, да там, царствие ему небесное, и сгинул. А мать – в операционной сейчас. Даже не знаю, выживет ли, уж больно много ей досталось – дочку собою закрыла, и то от осколков не уберегла, а сама...

Оказалось, пострадавшие – из её района, который в очередной раз был обстрелян из тяжёлого оружия. Женщина нарочно не называла тех, кто стрелял, но оба они прятали глаза, понимая, кто стоял за прицелами «градов». Услышав историю девочки, Иван стал бледнее мела. Богдан догадывался, что его задело – у самого дочь без матери росла, а тут, мало, что совсем одна осталась, ещё и ранена.

Люба по-бабьи заломила руки:

– Господи! Неужели это всё правда? Неужели это всё происходит с нами? Кто бы год назад сказал, что у нас случится война? Помню, мелкой была, анекдоты про «мыло-спички» ходили, кой-кто, действительно, запасался впрок, а сейчас? Проснулись – стреляют, умылись – бомбят... И не чужие вроде, свои... Не могу понять. И к чему всё идёт? Сидела как-то, думала, что дальше будет, да так ничего и не

придумала, знаю только, что «сегодня бились, завтра помирились» – точно не пройдёт. Не получится обратно в Украину – уж больно горя много, чтобы его забыть, слишком рана свежа, слишком сильно болит...

В палату снова забежали медсёстры – как и прежде, молча забрали каталку с раненой. Люба ушла вместе с ними, а за ней засобирился «на прогулку» Иван. Оставшись наедине с собою, Богдан перебирал в памяти последние события, пытаясь найти связь между реальностью и вчерашним сном, но ниточку нащупать ему никак не удавалось. Судя по всему, получалось, что ночной «приход» – плод его воображения, привычное сновидение, наяву же, как и раньше, ничего не происходило. Он ещё раз вернулся в тот далекий день, когда отмечали сороковины по смерти Настасьи, когда, как объяснила ему мама, душа усопшего получает назначение – решение о своей дальнейшей судьбе.

...После беспокойной ночи проснулся он поздно, еще более уставшим, чем засыпал. На кухне мама мыла холодильник.

– Как спалось, Богдан, ничего не беспокоило?

В ответ он молча помотал головой, что должно было означать отсутствие проблем.

– Ночью электрику выбило, холодильник потек. Вероятно, замкнуло где-то поблизости, когда была гроза, или молния в столб ударила – тоже бывает иногда. Грома не испугался? Я стучала тебе, но ты, наверное, уже спал.



Включённый «Донбасс» натужно заревел, нагоняя потерянную без тока температуру, а мама, заканчивая расставлять на полках продукты, сообщила:

– Бабушка по малину собралась, не хочешь с ней пойти?

Не отвечая, Богдан на скорую руку умылся, отрезал ломоть хлеба, к нему – внушительный кусок колбасы, оставшейся после вчерашних поминок, добавил к бутерброду малосольный огурец, и только тогда, с набитым едой ртом, крикнул:

– Мам, так я пошёл?

С бабушкой по ягоду идти не хотелось – снова будет горестно вздыхать, не обращая на него внимания, ему от этих вздохов и дома муторно. Правда, маме объяснять ситуацию не стал – мало ли, ещё обидится ненароком, поэтому, прихватив в коридоре мяч, побежал к приятелю. Но не даром говорят – если не везёт, то не везёт во всем: дом друга был закрыт на замок, а сам он, по словам соседской девчонки, буквально накануне уехал отдыхать в пионерский лагерь. По всему выходило, что выбор между походом в лес и смертью со скуки будет сделан в пользу первого.

Бабушка ожидаемо замкнулась в себе. Богдана она по-прежнему в упор не замечала – молча брела по тропинке, изредка шевелила губами – то ли молилась, то ли разговаривала сама с собой, и, кажется, совсем забыла, зачем и куда направляется, но Богдана это вовсе не раздражало – в лесу было чем заняться, к тому же, малина уродилась крупная,

сочная и безумно сладкая, будто сахарным сиропом политая, поэтому он не сразу заметил, как они вышли к густо заросшему буйным кустарником дальнему оврагу.

На первый взгляд казалось, что прежде этот уголок никто не посещал – тишина вокруг стояла необыкновенная, даже птицы молчали, будто стеснялись нарушить уединенность и покой похожей на рай окрестности. Редкие бледно-зеленые ростки с трудом пробивались сквозь толстый войлок прошлогодних трав, перепревших листьев и молодой ежевики, пронизывающей сухую подстилку сродни кровеносным сосудам. Гибкие ветви маличника, усыпанные искрящейся на солнце ягодой, тяжело клонились книзу, мало того, вся земля вокруг кустов была выстлана прозрачной, соком налитой малиной.

Обрадованный Богдан ломанулся к кустам, по ходу поднимая в воздух многоцветные стаи нарядных бабочек и усердно увертываясь от ежевики, по собственному опыту зная, как болезненно вживую отрывать колючие стебли, оставляющие по себе зудящие пунктирные следы, от тела. И только он добежал, как вдруг:

– Не трожь.

Богдан не поверил своим ушам – просто перед ним находились малиновые от сочной ягоды, не тронутые человеком кусты, а бабушка запрещает её собирать. Рука его непроизвольно потянулась к самому крупному плоду...

– Не трожь! – повторила бабушка громче, тяжело приса-

живаясь под ближним деревом. Богдан отпрянул от куста – впервые в жизни он слышал в голосе бабули угрозу, и, судя по интонации, слова её не были шуткой.

– На этом месте в сорок первом были расстреляны тысячи людей. Отсюда мне принесли выжившую Настеньку.

Богдан взглянул на рвы, почти невидимые из-за густой поросли, на буйный малинник вокруг, свежее-зеленые острые ростки травы, и ему стало не по себе, что, возможно, и трава, и кусты, и даже деревья в округе напоены кровью убитых страдальцев. По спине, как прежде ночью, пополз холодный липкий страх, словно Настя ушла, а ужасы её остались.

Собирать малину перехотелось. Он сел под дерево рядом с бабушкой, но услышал только:

– Трудное было время – время разбрасывать камни, но я верю, что придёт время их собирать.

После этого снова наступила тишина, спокойная, безмятежная тишина, в которой слышно было только легкий шорох порхающих бабочек.

– Ангелы, – бабуля осторожно тронула одну из них, беспечно севшую на её руку, потом поднялась, троекратно перекрестилась:

– Покоитесь с миром.

И после небольшой паузы:

– Пойдём, Богдан, мама заждалась.

Уже дома он попросил разрешения перебраться в Настину комнату на все лето, на что бабушка скупо произнесла:

– Спасибо тебе, сынок. Не мертвых нужно бояться, но живых.

В следующий их приезд в деревню она рассказала ему, как маленькая Настенька долго не могла избавиться от мучившего её безумия, в которое превратилось судорожное отчаяние, завладевшее её мозгом после расстрела; как боялась выходить на улицу, где в каждом человеке ей виделся убийца, а голоса вокруг напоминали голоса людей, охраняющих место казни, и стоны раненых, погребённых убитыми позже. Ночью она закутывалась с головой в одеяло, и всякий раз искала себе укромное местечко, чтобы спрятаться – и от себя, и от чужих.

Как ни странно, в детстве бабушкины рассказы не вызывали у Богдана страха, только интерес. Поначалу он впитывал их отстранённо, словно военные детективы, но с годами – сказала, наверное, семейная причастность к этим историям, лица из них стали появляться в его снах.

И вот уже, как будто он сам сидит в сугробе под присыпанной снегом раскидистой елью, рядом с ним – светловолосая девочка с большими карими глазами. Исподлобья разглядывая Богдана, она тщательно расправляет подол своего ярко-красного платья, выкладывая юбку вокруг ног почти идеальным колоколом.

Неожиданно слышится протяжный вой, и просто над ними появляется самолёт с чёрными крестами на острых крыльях. На бреющем полёте он сбрасывает на дорогу непрерыв-

ную цепочку темно-серых бутылочек с аккуратными вращающимися ветрячками. Бутылочки падают друг за дружкой по очереди, на одинаковом расстоянии, и так же по очереди, как падали, на земле взрываются.

Сбросив над просекой свой смертоносный груз, самолёт машет крыльями, будто прощаясь, и улетает. Девочка провожает его недоуменным взглядом, старательно поправляет сбившуюся от ветра складочку, а на дорогу возвращаются женщины. Одни из них споро растаскивают разнесенные бомбами подводы, отодвигают в сторону убитую лошадь с застывшим в растерянности глазом, на уцелевшие телеги грузят не повреждённое обстрелом добро, другие собирают разбежавшихся по лесу детей. Через несколько минут обоз продолжает своё движение.

В следующий раз он стоит вместе с другими детьми, тесно прижавшись к молодой женщине с младенцем на руках, а напротив них пылают дома. Над пожарищем поднимается дым – густой, чёрный, как смоль, дым, темнее, кажется, непроглядного морока ночи, а в огне мечутся ополоумевшие человеческие тени.

Семью и горе разделяет река, вода в которой, то ли от зарева, то ли от крови плывущих по ней трупов, почти такого же цвета, как юбка у девочки, испуганно застывшей подле него. Женщина тяжело вздыхает, совсем, как бабушка, когда тоскует или по кому-то убивается, и крестится: «Упокой, господи, их души».

Эти сны приходили к нему всё чаще и чаще, настойчиво преследовали его, густыми сетями опутывали сознание, и не отпускали, словно намеревались сжить со свету, или, возможно, наоборот, пытались предупредить о поджидающей опасности. В последнее время ему казалось, что жизнь его постепенно переместилась в ночное время суток.

Одни видения надолго откладывались в голове Богдана, другие он мгновенно забывал, но ещё никогда, как сейчас, у него не оставалось странного чувства реальности – он до сих пор помнил охватившее его ощущение присутствия близкого человека, поэтому был твёрдо уверен, что полуночный гость был, и был не во сне – наяву. Оставалось гадать, кто он и зачем приходил.

В своих раздумьях он и не заметил, как вернулся Иван. Тяжело опираясь на костыли, он с трудом взгромоздился на кровать. Увидев мрачное лицо и его потухшие глаза, разговор начинать Богдан не стал. Где-то через полчаса сосед сообщил сам:

– Ушла.

Он знал, что объяснять ничего не надо.

А ещё через время у Ивана случилось кровотечение. На этот раз всё было гораздо хуже и сложнее, чем после первого его похода по территории – казалось, открылись все выходы и входы, которые удерживали в организме кровь, и вся она хлынула в огнестрельное отверстие в ноге.

«Ходок», – искренне сочувствовал Богдан, наблюдая, как

суетится вокруг его измождённого напарника медицинский персонал. Он понимал, что причиной обострения являлось нервное истощение, что силы Ивана уже давно были на пределе, и что сегодняшнее происшествие стало последней каплей в полной чаше до краев.

Бледный, будто с креста снятый, с неожиданно заострившимся носом и тёмными землистыми кругами вокруг ввалившихся глаз, человек на соседней койке мало напоминал неунывающего живчика, каким совсем недавно был Иван. Возле него постоянно находилась Люба.

Женщина тоже изменилась – внезапно подурнела, осунулась, вроде осиротела по новой. На лице её вдруг обозначились раньше незаметные морщинки, а спина сторбилась, будто у немощной старухи. Впервые она не ушла ночевать домой, так и сидела возле раненого, скукожившись, вздрагивая при малейшем его движении, готовая при первой необходимости помочь.

Вернулся к себе сосед только на следующий день, к вечеру. Он открыл глаза и попросил воды. А ночью Богдан услышал в палате тихий разговор.

– ... Не знаю, когда это случится, возможно, не сейчас, возможно... Все возможно, никто от этого не застрахован. Хочу попросить тебя об одолжении...

Спустя некоторое время дверь палаты отворилась. В тусклом свете коридора стояли двое – он, опираясь на костыли, и она, поддерживая его под локоть.

Не отрывая глаз, он смотрел на одинокую женщину и беспомощного инвалида, и чувствовал себя незаслуженно обделённым – они не казались Богдану слабыми, нет, скорее, наоборот – слабым был он. И от этого понимания сердце в груди стучало так громко, что заглушало собственные мысли. Он почувствовал, как, лёжа в постели, теряет равновесие, становится неизлечимо жалким и больным, навсегда потерявшимся в этом непростом жестоком мире.

Чтобы немного развеяться, он поднялся с кровати, провёл на расстоянии до калитки Любу с Иваном, подождал, пока они не скрылись за поворотом, и снова вернулся обратно в больницу. Над дверью операционной горела красная лампочка. Внутри над столом с больным наклонились два человека, в одном из которых даже со спины Богдан узнал своего прежнего лечащего врача. В уголке комнаты пугливо цеплялись друг за дружку встревоженные, совсем ещё юные девочки-медсёстры.

Судя по всему, операция подходила к концу – доктор, тронув за плечо своего молодого коллегу, зашивающего рану, что-то сказал ему, вытер рукавом халата пот с лица и неторопливо вышел в коридор. Богдан последовал за ним. В ординаторской, тяжело вздохнув, мужчина достал из незапертого сейфа заткнутую бумажной пробкой колбу, плеснул её содержимое в безухую чашку, и, выпив залпом, одним глотком, застыл, словно прислушиваясь к себе. Постояв так пару минут, доктор рассеянно огляделся по сторонам, с трудом



соображая, где находится, потом грузно опустился на такой же, как сам, старый и разбитый выцветший диван. Уставшие пружины вразнобой скрипнули, принимая его в свою пожилую компанию, и продолжили сторожко дремать. Человек и себе устало опустил плечи и закрыл глаза.

Ещё немного погода в дверь тихонько постучали. Не дождавшись ответа, в комнату заглянула санитарка. Увидев на диване врача, женщина попятилась назад, чуть не споткнувшись о только что оставленное у входа ведро с водой, но, будто почувствовав неладное, остановилась, несмело подошла к спящему и тут же снова отпрянула назад, закрыв ладонью рот, чтобы не закричать.

Наутро о пребывании в палате Ивана ничего не напоминало, вроде его никогда в ней и не было. Вместе с ним ушла из больницы и Люба. Не было известий и о докторе, а в койке напротив лежал перевязанный бинтами человек. Из трёх капельниц по обе стороны кровати неспешными ручейками к нему стекалась жизнь.

На следующий день больной на соседней койке снова сменился, потом ещё, и ещё... С тех пор, как раньше сны, одно лицо сменяло другое, не задерживаясь в памяти, оставались только голоса: «Выехал я на бугор, смотрю, внизу «бэтээр» стоит, вокруг него копошатся укры. Я – по тормозам и обратный ход. Они – по мне, еле вывернул...», «Володя вместо Саввы в ополчение ушёл, не простит он им смерти сыночка», «Не знаем, как ему сказать, что Миша, брат его, ранен»,

«Богдан, вернись, отпусти... За что ты там цепляешься?»

Проснулся он от яркого света, больно ударившего по глазам. Вспышка была настолько сильной, что не сразу заметил доктора и идущего следом за ним, и только, когда глаза привыкли к свету, он понял, что второй человек – его давний знакомый, ухмыляющийся клоун с циркового плаката на трамвае.

Шут еле поместился в узком пространстве между кроватями и стойками капельниц с огромным кульком в одной руке и чёрной блестящей тросточкой – в другой. Театрально выхватив из пакета яркий лоскуток, он подбросил его, виртуозно взмахнул палочкой – ткань полыхнула и рассыпалась на мелкие сверкающие искры-звездочки.

Захлопав в ладони и даже подпрыгнув от восторга, клоун продолжил демонстрировать свои странные цирковые трюки – доставал из пакета тряпки, ловко разворачивал их, будто намеренно показывая публике, затем подбрасывал в воздух, где они на глазах разлетались разноцветными воздушными шариками или мгновенно вспыхивали и, не долетев до пола, осыпались тускло-серым пеплом.

У Богдана челюсть отвисла от удивления, и не оттого, что происходило, а потому, что в подбрасываемых клоуном лоскутках он узнал свою одежду – и куртка, и белье, и свитера, и остальные вещи были его собственными, личными, из квартиры во Львове, чего быть не могло по определению, а клоун, не останавливаясь на достигнутом, уродливо вытя-

нулся, неестественно изогнулся и просто из воздуха выудил мобильный. Повертев его в руках, будто игрушку, он ткнул в него все той же блестящей тростью и молча протянул Богдану.

– Богдан? – как из-под земли, донеслось до него недоверчиво-настороженное. Приглушенный женский голос показался ему невероятно знакомым.

«Неужели Наталья?» – все ещё не доверяя своему счастью, посмотрел на телефон, потом на скомороха, снова на телефон, и вдруг услышал: «Богдан? Ты где? Я тебя не слышу, Богдан!»

Испугавшись, что Наталья снова пропадёт, вылетит из зоны, как это было раньше, или, хуже того, клоун передумает, Богдан потянулся к трубке, суетливо выхватил её из рук клоуна и нечаянно выпустил. Телефон, будто живой, несколько раз перевернувшись в воздухе, на мгновение завис и... устремился отвесно вниз. В то же мгновение тело его, до этого неподвижное, сделало немыслимый бросок, и с диким нечеловеческим криком он подхватил падающий на пол аппарат.

– Наташенька, дорогая, здравствуй! – выдохнул в трубку. – Я тебя люблю! Я так сильно тебя люблю! И тебя, и девочек! Как ты? Где вы сейчас? Вам ничего не угрожает? Вы в безопасности? Как ты себя чувствуешь? А дети? Рассказывай, моя хорошая, рассказывай!

Казалось, он врос в телефон, сжав его до боли обеими,

трясущимися от волнения, руками, чтобы во второй раз случайно не уронить, говорил – и не мог наговориться, слушал – и не мог наслушаться, и не было счастливее его человека во всем мире. От этого счастья у него снова закружилась голова, и он, как в бездонный омут, нырнул в густой тошнотворный туман...

Плотная едкая пелена понемногу рассеивалась, обнажая обрушенные, ещё горячие, дымящиеся дома. Возле одного из них высилась немалая куча балок, досок и прочего строительного материала, просто на его глазах превращающегося в обугленные головешки. Изнутри следующего шло тусклое дрожащее свечение, похожее на еле тлеющий огонь, и доносился приглушенный разговор. Приглядевшись, Богдан увидел пристроенный среди битого стекла и кирпича электрический фонарик и двух мужчин, осторожно разбирающих уцелевшие после обстрела стены. Один из мужиков аккуратно поддевал ломиком доски, сохранившиеся более других, второй принимал их и складывал.

–...Можно будет подвал изнутри утеплить, чтобы сыростью не тянуло, и на пол второй слой бросить – зимой не помешает, – рассудительно произнёс старший, подавая своему напарнику очередной обломок.

– Этим? – молодой человек задержал в руках кусок вагонки, которой некогда были обшиты стены. – Вот этим, папа? Да как ты можешь?! Я же своими руками этот дом сложил! Иришку сюда из роддома с Виталиком привёз! А теперь, го-

воришь, этим... вот этими жалкими останками... подвал им утеплять?

– А что поделывать?

– Да как ты не понимаешь?! Это же осколки нашей жизни, папа!..

– Чужое не подслушивай.

От неожиданности Богдан вздрогнул, потом оглянулся в поисках источника голоса, но, никого поблизости не обнаружив, решил, что ему послышалось.

– Не признал? – от изувеченного дома отделилось тёмное пятно, засмеялось-закашлялось, будто из дырявого мешка посыпался горох, и неторопливо направилось к нему.

«Баба Варя!» – вздохнул с облегчением.

– Богатой буду! – снова зашлась в бесхитростном смехе тень. – Как раз впору. Не сидится, говоришь, правду ищешь? Правда нынче, касатик, о двух концах, ухватишь ниточку – твоя будет, не-е – значит, не судьба, не обессудь. Вот только успеешь ли? Время быстро идёт, торопится, сегодня не успеешь – завтра опоздаешь, а правду, как и ложь, нужно голой брать, тепленькой, пока она в одежды не успела облачиться, пока скромностью не обросла.

Как и прежде, баба Варя говорила, да не договаривала, оставляя место для собственных предположений и догадок, хотя... хотя, что уж здесь скрывать, если правда эта со всех дыр на дорогах торчит, со всех выбитых окон-дверей выглядывает, свежими кладбищенскими крестами отсвечивает?

Тем временем в разрушенном доме подняли с пола фонарик, обшарили уставшим лучом остатки израненных стен. На одной из них висела чудом уцелевшая фотография. Молодой человек снял её, осторожно вынул из рамки и положил в такую же чудом выжившую книгу, лежащую на густо припорошенном смесью оконного стекла и штукатурки подоконнике. «Война и мир», – прочитал Богдан на обложке.

– Только война. Вокруг только война, – прозвучало у него над ухом. «Неужели баба Варя в темноте видит?» – подумал удивленно, и тут же услышал:

– А миром и не пахнет.

Старуха подумала немного и выдала ещё более удивившее Богдана:

– В Минске заключили договор, а они всё стреляют. Думаешь, не знают, что мировую подписали? Как бы не так! Приказа ждут, а его нет. Нет приказа, и не будет. А всё потому, что в мутной воде рыбка ловится.

Тень перешагнула-перетекла через груды тлеющих головешек.

– Ты на мир посмотри – впечатление, будто не умеют говорить, в глаза друг дружке не смотрят, взгляд друг от друга прячут, – снова особо отметила она. – Сейчас все на виду, как на ладони – один в телевизоре безвылазно сидит, другой из интерната не вылезает, все про всех всё знают, хотя и не общаются. А ещё, будь она не ладная, война. Душу, постылая, наизнанку вывернула, всю подноготную обнажила, точ-

но в зеркале кривом...

Баба Варя почти слово в слово озвучила его мысли, Богдан даже не стал исправлять название сети, так как и ему показалось, что интернет, действительно, мало чем от интерната отличается, разве только размерами, в остальном все было верно – так думал он сам.

За разговором он и не заметил, как разрушенная артиллерийским обстрелом улица закончилась, и на смену ей пришло открытое пространство – в лицо пахнуло ветром, настоящим на пыли, копоти и гари, а под ногами захрустело густое крошево асфальта и стекла.

Свет трассёров, пронзивших в нескольких местах небо, выхватил на мгновение останки побитой свежими воронками взлетно-посадочной полосы, вдоль неё – обнаженные рёбра сожжённых самолетов, а поодаль – нагромождение мертвой, застывшей в последних конвульсиях арматуры и бетона диспетчерской вышки, больше похожей на оставленный жильцами ржавый термитник, готовый в любую минуту упасть и рассыпаться в пыль.

– Аэропорт, – вздохнула рядом баба Варя. – С тридцать третьего года стоял. Раньше, как и город, «Сталино» назывался. Даже немец не тронул, хотя, не дай Бог, свирепствовал фашист. В сорок четвёртом, как только наши вернулись – заработал опять.

В двух шагах от них торчали из земли уродливые руины искореженного огнём, грузно осевшего пассажирского тер-

минала, открытого всего каких-то пару лет назад, и транспортной стоянки, ставшей последним пристанищем несколькими десяткам сгоревших автомобилей, а перед глазами Богдана проносились и исчезали сцены торжественного открытия аэровокзала – почтенные гости, элегантные стюардессы, огромный, на всю стену, портрет композитора Прокофьева и музыка...

Незаметно жалкие развалины терминала сменили такие же лишённые жизни, порванные на части хозяйственные постройки, а музыку – высокий истерический визг, по всей видимости, мышей или других мелких животных. За визгом последовало глухое пыхтение, в лицо пахнуло гниющими отходами и взору его открылась вселяющая ужас картина: жирные лоснящиеся крысы, сыто отсвечивая масляными глазками, лениво сновали среди обезображенных, расплзающихся человеческих останков.

Внезапно мерзкие твари насторожились, наострили уши и так застыли, прислушиваясь. Вскоре послышались приближающиеся тяжелые шаги. Крысы неохотно оторвались от своей жуткой трапезы и, раздраженно подёргивая ошестинившимися усами, неторопливо отошли на безопасное расстояние, а из темноты вынырнули угрюмые тени, с размаху бросили на кучу гниющих тел ещё один труп и снова исчезли, бесследно растворившись во мраке. Крысы жадно набросились на свежатины, деловито обглаживая, в первую очередь, открытые участки тела – руки и лицо.



– Пойдём. Мертвые должны быть погребены, а этот вообще живой, но его туда же, на свалку.

Человек, лежащий на горе трупов, действительно, пошевелился, но тут же, открыв в последний раз глаза и рот, застыл. Грызуны на его действия даже внимания не обратили.

– Дошёл, бедолага, – перекрестилась баба Варя. В голосе её сквозила такая пронзительная боль, что Богдан её, казалось, почувствовал на ощупь, а ещё почувствовал, что земля, на которой он стоит, шатается и превращается в раскалённые угли.

– Они их киборхами называют, героями, хотя не все ли равно, под каким именем пропадать? Сами пришли. Никто не звал. А герои у нас свои есть – Краснодон рядом, и Саур-могила. Пусть своих забирают домой.

Вдалеке раздались глухие взрывы. Баба Варя с тревогой подняла глаза на небо:

– Опять по городу стреляют. Тяжелыми. Даже ночью от них спасу нет, нету спокойствия. Устала я, пойду... Кто-то руку потерял. Видать, она ему не нужна. Была бы нужна – искал бы. Земля святая скроет прах... Вода студёная смоем грех...

Продолжая что-то невнятно бормотать себе под нос, женщина подняла с земли оторванную человеческую руку, завернула её в лежащие рядом грязные лохмотья и пристроила среди битых кирпичей. Потом, с тоской окинув взглядом кучу гниющих тел, обложенных пирующими крысами, при-

крыла свёрток длинной обгоревшей доской. В хлопотах баба Варя снова превратилась в тень, которая в свою очередь тут же растаяла в темноте, оставив Богдана путешествовать в одиночестве, отчего озябшая душа его ещё более съежилась, будто усохла, окаменела.

Вскоре и уничтоженный посёлок, и разрушенный аэропорт остались позади, но жуткое зрелище снова вернуло Богдана к его снам, и тотчас он увидел возле себя уже знакомую маленькую фигурку в красной юбке. Девочка стояла у самого края реки, вполоборота к нему, и неотрывно, как замороженная, смотрела в воду. На её оцепеневшем от испуга лице застыло выражение неподдельного ужаса – у ног её, на мелководье, лежало неподвижное женское тело. Неторопливое течение лениво шевелило длинные волосы мертвой, спутанные с бурыми прядями водорослей, а молодые щуки, в палец толщиной, резвились, откусывая изрезанную на полосы нагую плоть покойной.

Земля под ногами его, казалось, ещё больше зашаталась и накалилась добела, до такой степени, что стоять на ней было уже невозможно, а ещё немного погода он почувствовал, как обжигающие угли острыми иглами вонзаются в сердце.

– Разряд! – раздалось где-то рядом. – Ещё разряд!

Потом послышался голос Натальи:

– Богдан, не уходи! Прошу тебя!

Он переступил с ноги на ногу, пытаясь снять с себя невыносимый жар, не торопясь, огляделся по сторонам, так же

медленно обошёл больницу. Постояв немного возле безголового тополя, осколок которого в тот злополучный день пронзил стену палаты, направился к выходу. Все ещё пребывая в сомнении, остаться или идти, задержался ещё на мгновение, потом отворил калитку и пошёл, ускоряя шаг.

Последнее, что он увидел, как за ним вдогонку бросилась медсестра, с виду похожая на Наталию, но пожилая женщина её остановила:

– Не трогай, дочка, не мешай. Отмучился. Пускай идёт...